

Глава IV. Война

Что война будет и что она будет с Германией никто в студенческой среде не сомневался. Психологически к этому были готовы. Однако уверенными в том, что все будет так, как в фильме "Если завтра война...", были разве что Ореханов и ему подобные.

Нас готовили к войне. Военная кафедра в МГУ была поставлена на широкую ногу. Я занимался военным делом увлеченно. Списанный в отставку командир с тремя кубиками в петлицах, руководивший занятиями, мне благоволил. Он увидел во мне мальчишескую страсть к оружию, к военному порядку и выправке - для него это означало, что из такого получится "настоящий воин". Вообще наших комсомольских активистов несколько удивляло слишком серьезное отношение к военному делу, как и к спорту, "этого политически совершенно никудышного студента" (запомнил эти слова одного из "вождей" местного значения, переданные мне Шурочкой Виндсберг). Но для меня это была не только физическая потребность, наверное, естественная в хорошо скроенном молодом теле, но и способ самоутверждения, источник уважения к себе. Заодно удовлетворялось и тайное желание нравиться, обращать на себя внимание.

Я вникал во все подробности "максима", "дегтярева", СВТ, артиллерийских систем. Военруку льстила моя дотошность, он охотно отвечал на мои вопросы. На экзамене он, желая помочь мне продемонстрировать образцовые ответы, подсунул билет о винтовке-трехлинейке образца 1891-1930 гг. Я же наперед не рассчитывая на "легкую жизнь" в военном образовании, в свое время пренебрег столь ординарным "объектом". (Потом лишь, на фронте, оценил, какое это чудо безотказности и надежности, особенно по сравнению с СВТ, оказавшейся совсем негодной, да и всеми трофейными аналогами.) Отвечал я путано и неточно, чем очень огорчил своего наставника, который, видимо, загодя расхвалил меня перед членами экзаменационной комиссии. Впрочем "пятерку" мне все-таки поставили.

Военруку было лет под сорок. Обучая нас, он все время апеллировал к гражданской войне. За углом университетского здания на Моховой, во дворе, через который мы и зимой бегали раздетые на истфак и обратно, он нам

демонстрировал приемы владения винтовкой. До сих пор у меня перед глазами ловкие и неожиданные его движения: штыковой укол, выпад прикладом и мгновенно - винтовка над головой против удара шашкой, молниеносные повороты вбок, влево, вправо, назад, подготовка для стрельбы, перезарядка, секунды на новую обойму в магазин...

Когда я оказался на войне, я не раз с усмешкой вспоминал это мастерство: зачем оно нам?! К чему нас готовили?! Но всегда с уважением думал об этом человеке, военруке с тремя кубарями. Он истово, честно нес свою службу, с высокой ответственностью за "будущих бойцов". Такие вот, кадровые, и полегли первыми летом 41-го.

Весной студентов вывозили на маневры в Подмосковье. Вроде как делалось по-настоящему: обороняющиеся, наступающие, фланги, разведка и прочее, только без холостых выстрелов. Организовывались ночные марши по улицам Москвы. Огромные колонны студентов шествовали в темноте. Университетские - в сторону Сокольников. То и дело по команде надевали противогазы. А вдоль колонн носились на мотоциклах обряженные в краги члены военно-технических кружков, "обеспечивая связь" и порядок следования. Я, кстати, тоже состоял в таком кружке - шоферском. Но на экзамене засыпался: совпало с начинавшимся у меня сильным воспалением легких, за рулем я был уже в полуобморочном состоянии (как оказалось дома - с температурой больше 39 градусов).

Я упоминал раньше, что мы с братом летом 1940 года ездили в Картуз-Березку, в Западную Белоруссию, где стояла дивизия, в которую был призван отец накануне осенью. Мама была уже там - повторяла свой "подвиг": в 1917 году, еще невестой, тоже умчалась из Москвы к своему Сереженьке на Румынский фронт под Тирасполь. Едва достали билеты, ехали, хоть и в пассажирском вагоне, но вповалку. В самой этой сверхперегрузке железной дороги на западном направлении было уже что-то тревожное.

От пребывания в этом с недоброй славой местечке (там был до 1939-го года польский концентрационный лагерь) остались два главных впечатления, связанных с предстоящей отечественной войной. Первое - это дискуссии с поляком, хозяйским сыном, под солнышком на бревнах, сваленных у сарая поодаль от дома, где мы остановились. Он был старше меня лет на восемьдесят, помнится служил в какой-то конторе. Говорили всегда спокойно, по-

доброму. Он был подавлен случившимся с его страной, но ко мне проникся симпатией и разговора не обострял. Одна тема: как же так, Сталин - сам революционер, прошел тюрьму и ссылку, боролся против царской империи, а теперь он и Гитлер навалились с двух сторон на соседнюю страну, расчленили ее, и СССР тоже забрал себе чужую территорию, и не маленькую? И как, мол, насчет ленинского лозунга "без аннексий и контрибуций"? Образованный был поляк. Вторая тема - как же вам, русским, не стыдно: опять оскорбляете, давите поляков и думаете, вам это так пройдет?! И еще одно: неужели Сталин не понимает, что Гитлер не будет с ним делиться победой над всей Европой (тогда уже пала Франция)?

Мне импонировала его смелость: ведь он говорил все это сыну командира оккупационной армии, который был на постое в его доме. И я чувствовал, что, будь на моем месте немец в такой же ситуации, этот мой поляк не стал бы с ним вести такие дискуссии. Значит, было в нем что-то такое, не только персональное, но и национальное, что позволяло ему довериться русскому. Значит, существовали какие-то исторически обусловленные, пусть не осознаваемые чувства, которые поддерживали в нем надежду на понимание и даже сочувствие, на то, что у советских не утасла еще совесть.

Я написал сначала, что мы "вели дискуссии". На самом деле дискуссий-то не было. В ответ на его медленные, с большими паузами, внешне спокойные размышления я мямлил что-то неопределенное, аргументов у меня не было, крыть мне было нечем. И уж тем более оправдывать нашу "дружбу" с немцами я не мог. Я больше "успокаивал" моего собеседника, которого с каждым разом все больше уважал. (Что-то с ним стало потом?!) Говорил: вот война кончится, тогда разберемся, помиримся...

И второе впечатление в Картуз-Березке - от нашей армии. Местечко это находилось прямо у разделительной черты между нашими и немцами, у самой новой границы СССР. И там стояла дивизия, выдвинутая, что называется, на передний край. Как ни странно, это было не кадровое соединение, а набранное по срочной мобилизации. Большинство составляли люди вроде моего отца - не первой молодости. Я ходил на поле, где проводились занятия, наблюдал этих красноармейцев-новобранцев. Зрелище жалкое: у нас в МГУ, на военной кафедре гражданского вуза, и строевая, и

тактика, и вся выучка, отношение ребят "к службе" - небо и земля по сравнению с тем, что видел в этой дивизии. Да и отец кое-что рассказывал. Вооружение самое разномастное, даже трофейное - от первой мировой и гражданской войн, своих трехлинеек на всех не хватало.

Дыхание войны сильно почувствовали мы в университете, когда Гитлер напал на Югославию, в апреле 1941 года. В клубе МГУ с лекцией "о текущем моменте" выступил Свердлов, младший брат знаменитого, златоуст, очень популярный и "хорошо осведомленный" пропагандист тех времен с какой-то тайной, тянувшейся за ним.

Так вот, этот Свердлов уже открытым текстом (в "закрытой", правда аудитории) крыл Гитлера, Германию и грозился, что если дело так дальше пойдет, терпеть это нельзя и т. п. И надо, мол, быть ко всему готовым.

Знаменитое опровержение ТАСС от 15 июня 1941 года - не знаю, как в других местах, разные приходилось читать воспоминания - воспринято было в Университете, как сигнал кануна войны.

Шли экзамены. Я кончал третий курс. 22 июня я заехал утром на истфак, - что-то надо было захватить на кафедре. Часов в 10 поехал на метро к Любе в переулок Стопани. Вышел на "Кировской" из вагона. Народу мало, воскресенье. Направился к эскалатору. И чуть ли не лицом к лицу столкнулся с... Кагановичем, сопровождаемым "группой товарищей". Остолбенел, остановился, отошел в сторону, пропустил и долго глядел вслед. Каганович шел медленно, останавливался, глядел вверх, по сторонам, что-то говорил своим¹.

Прибежал к Любе, поделился удивлением. Тем не менее, растянувшись на ковре в большой комнате, стали готовиться: предстоял последний экзамен по всемирной литературе. На всякий случай в соседней комнате оставили, приглушив, приемник. За полчаса до 12-ти голос Левитана несколько раз предупредил, что ожидается важное сообщение. В полдень мы слышали Молотова.

Когда я часа полтора спустя вышел к Красным воротам, направляясь домой в Рощу, по Садовому кольцу уже ползли военные повозки, их

¹ Уже после войны стало известно, что на этой станции метро и в соседних кварталах рядом в особняках располагался Генштаб РККА.

обгоняли конные группы, грузовики тянули зенитные орудия. Обратил мое внимание патруль на перекрестке - трое красноармейцев в каких-то несоветских коротких зеленоватых шинелишках и с не нашими винтовками, над которыми высоко над головой торчали длинные кинжального типа штыки. Я вспомнил вооружение картуз-березовской дивизии.

Поздно вечером - митинг в университете. Коммунистическая аудитория забита так, что в рядах амфитеатра стояли и на полу, и на лавках, тесно прижимаясь друг к другу боком. Выступали, призывали и клялись разные ораторы. Но как сейчас передо мной стоит Миша Гефтер². Весь блеск и силу своего ошеломляющего красноречия, всю страсть и ярость "несгибаемого большевика" он вложил в эту, действительно зажигательную свою речь.

На протяжении трех лет до войны Гефтер был кумиром не только истфаковцев. Далек за пределами факультета "гремела его слава". Оратор от Бога, с ясной и четкой мыслью, отточенной культурой слова, он умел покорять аудиторию, о чем бы ни говорил. Я - скептический и аполитичный - поражался, как он действовал на меня: уходя с собраний, где он выступал, я думал о предмете "совсем наоборот", чем до того. Меня Гефтер тогда не знал. Я был весьма рядовой и абсолютно "беспартийный". В нем было что-то от революционного времени. Он, видимо, представлял собой тип деятеля в духе Троцкого или Зиновьева. Трибун огромной силы воздействия, с хорошей долей демагогии, которая, однако, была трудно различима из-за "страстной убежденности" оратора в своей беспрекословной правоте... Это совсем не то, что, например, Киров - тип оратора, тоже трибуна и вожака, тоже с мощной энергией и непоколебимой убежденностью, но снисходительного к слабостям "малых сил", внимательного к простым "житейским обстоятельствам" (вроде того, каким создал Чирков своего "Максима"), словом, тип русского революционера и борца. Гефтер был вариантом революционера еврейского темперамента, неутомимого ригориста, не терпящего ни возражений, ни мелких хитростей и обходных

² Тот самый Михаил Яковлевич Гефтер, которого потом мы узнали, как диссидента конца 60-х годов, восставшего против официальной идеологии и исторической лжи, исключенного из академического Института истории, демонстративно вышедшего из партии. Нынешнее поколение познакомилось с ним уже в роли философического комментатора на телевидении в постперестроечное время. Тогда он был секретарем партбюро, только что закончил пятый курс.

путей, несколько любующегося своим превосходством и своей железной принципиальностью.

Митинг, на котором Гефтер был главным оратором, закончился далеко за полночь...

Я все-таки решил пойти на экзамен. Должен признаться, что в общем-то в мальчишеском сознании, к тому же еще очень далеком от прозы жизни, от бытовых, взрослых забот, не сложилось представления о страшной опасности, нависшей над всеми. Казалось даже, что случилось какое-то недоразумение, которое скоро должно рассеяться. Не было еще предчувствия, что переворачивается судьба всех и твоя собственная, что начавшееся - надолго и оно ужасно. С этим я и шел на экзамен. Но не менее, пожалуй, чем ночная речь М.Я.Гефтера, меня пронзило поведение нашей очаровательной профессорши Валентины Дынник. Она брала у нас билеты, не слушала, утирала слезы и всем ребятам подряд ставила "пятерки". Такой она и осталась в моей памяти навсегда. В этой поразительно женской реакции на то, что произошло, я нутром ощутил грозный знак надвинувшейся беды. Но самообман (может из легкомысленного чувства самосохранения), будто происходит вокруг какая-то большая игра, что-то ненастоящее, сохранялся во мне еще долго - до того момента, пока не попал в армию.

В ближайшие два дня после 22 июня снесли ворота и заборы между дворами и окончательно таким образом обезобразили Марьину Рощу моего детства и отрочества. 26-го в 4 утра все вокруг выскочили из квартир и задрали головы: небо, уже светлое, было покрыто мириадами белых круглых облачков. Они продолжали лопаться и с разных сторон слышен был грохот пушечных выстрелов. Что это было? Никто не объяснил ни тогда, ни потом. То ли ложная тревога, спровоцировавшая паническую пальбу из всех наличных зениток. То ли учебная проверка готовности ПВО Москвы. То ли реальное появление где-то вблизи немецких бомбардировщиков.

На другой день утром домой ко мне явился Коля Гаузнер, один из комсомольских активистов (ставший много лет спустя известным ученым-экономистом). Сказал, что в 5 часов сбор на истфаке - едем копать противотанковые рвы. Родителей дома не было, они продолжали жить на даче. Одна бабушка. Всплеснула руками, заплакала, но тут же покорно стала

собирать меня. Когда я вспоминаю сейчас о том эпизоде, трудно поверить, что моя реакция была такой, какой она была: будто меня пригласили на веселую туристскую экскурсию. Покрывало с кровати вместо одеяла, маленькая миска и ложка - то есть все, что не было надето на мне (майка и брюки), уместилось в школьном мешочке для галош.

На факультете была суета. Погрузились мы в подогнанные прямо к зданию истфака трамваи, которые и переправили нас на Киевский вокзал. Это был истфаковский отряд, пара сотен ребят со всех курсов. Возглавлял его в качестве главного комиссара Миша Гефтер. Он и в новой своей роли был строг, вездесущ и неутомим. Называли его все "Миша", но дистанцию соблюдали. Его авторитет был беспрекословен и в общем натурален. Им восхищались и на этом "полуфронте" уважали искренне. Да и впрямь! Всю эту импровизированную наспех "армию" надо кормить... Надо было поддерживать дух и дисциплину, более того - энтузиазм. Организовывать работу на часто меняющихся позициях. Держать связь с воинскими частями, вовремя перемещать нас под постоянной угрозой окружения.

Провожало нас от истфака до вокзала довольно много девчонок с разных курсов во главе с Верой Владимирской, о которой я упоминал. Провожаться пришлось долго: поезд не отходил, пока не стемнело - маскировка. Куда нас везли, не осмеливались выяснять: такова была массовая психология - "куда надо!" Ехали мы долго. Днем стояли. На какой-то день пути по эшелону прошел слух: выступал Сталин. Что говорил - толком никто не знал. Значит, было уже 3-4 июля. И в эту же ночь нас выгрузили прямо в поле. Долго строились. Что-то кричали "связные" от начальства. Тронулись. Прошли километра три, привал. Час, другой, третий - сидим, валяемся на траве. На рассвете только двинулись дальше. Довольно скоро пришли в большое село. Разбрелись по домам, вернее - по сараям и сеновалам. Проспавшись, узнали от хозяев, что мы - не помню названия села - на берегу речушки Снопоть, притока Десны, километрах в сорока от Рославля. Первые два дня болтались без дела, студенческая беззаботность брала свое, веселились, куражились. Было жарко, много купались. Я красовался, прыгая рыбкой на глубине не больше 30 см. Однажды разодрал себе всю грудь и руки. На другой день после нашего появления утонул на наших глазах деревенский мальчик лет пяти, мы его вытащили, но откачать

не сумели, поздно заметили, что тонет. Как убивалась мать, как голосила! Жизнь человеческая была еще в цене.

Потом началась работа. Противотанковые рвы вдоль берега. Взялись жаростно, весело, с энтузиазмом. По мере того, как ров углублялся, до трех метров, - землю приходилось бросать все выше. И через пару дней от непривычной физической нагрузки ломало по ночам все тело, сны превращались в галлюцинации, прекрасные, страшные, мучительные. Никогда не пробовал наркотиков, но почему-то представляю себе дурман от них похожим на мои тогдашние сны. Впрочем, это быстро прошло. Работа стала привычной. Еды было вдоволь: через нас шли и шли беженцы, гнали стада коров, свиней, овец. И чтобы не пропадало, отдавали нам - молоко, масло, мясо, простаквашу.

С опозданием появились прорабы со стороны, "профессионалы", размечали нам участки, устанавливали нормы, учили экономнее действовать лопатой.

Стали мы "разбираться" между собой. Сближались те, кто на факультете были едва знаком. Оказалось, что среди нас, кроме Миши Гефтера, нашего беспрекословного "вождя", нет ни одного из комсомольских активистов и "деятелей местного масштаба". А все больше те, кто был незаметен в шумной студенческой общественной жизни. Я понял: началась настоящая проверка, кто есть кто. Говорили об этом вечерами с Володькой Хатунцевым, с которым сдружился здесь окончательно и навсегда, несмотря на то, что произошло потом, о чем - позже. Он - умник, насмешник и мудрец, снисходительно подтрунивал над моим удивлением и негодующими декларациями. Цыпленок, мол, ты, не то еще увидишь!

Через пару недель расположилась сзади нашей "линии работ" воинская часть. Начали ставить проволочные ограждения и сооружать дзоты. Мы с Володькой сошлись с одним старшим лейтенантом, интеллигентным парнем из поступивших в вуз в 1939 году и тут же призванных в армию. Он кое-чем делился с нами, хотя сам знал мало. Мы же питались из политбесед, которые разносили агитаторы, информируемые Гефтером. А беседы были так-себе, на-коротке, во время обеда, да и то не каждого, когда мы, растянувшись на пузе, поглощали из домашних мисок кашу и из них же пили молоко и чай.

Вскоре над нами стали кружить немецкие разведчики. Не стреляли и бомб не кидали. Но однажды километрах в трех от нас увидели и услышали настоящую массированную бомбежку, - видно, какой-то там "объект" находился. Впервые я познакомился с "каруселью", от которой много раз доставалось потом, на фронте: шесть-двенадцать одномоторных "юнкерсов" ("Ю-87"), подходя к цели, выстраиваются в круг, поочередно пикируют до высоты 25-50 метров, сбрасывают бомбы и взмывают вверх, включая мощные душераздирающие сирены. Выходя из пике, каждый выстраивается в хвост и так - пока не израсходуют запас бомб. Изматывающая до нервного потрясения "процедура". Не все ее выдерживали, выскакивали из окопа, траншеи, блиндажа и обезумевшие бежали прочь, часто погибая под бомбами...

Атмосфера сгущалась, тревога закрадывалась в наши души. Мы видели, как крестьянские парни и мальчишки гужуются возле церкви, снаряжают повозки, запасают какие-то узлы, мешки, ящики, готовят верховых - словом, собираются в партизаны. На запад и на север от нас уже отдаленно погромыхивала артиллерия.

Помню, собралась "инициативная группка", человек пять, пошли к комиссару Гефтеру: Миша пора винтовки нам раздавать, не ровен час... подгребут, если не перебыют... Он развел руками: не положено, да и где взять?

Мы не закончили еще своей "первой линии", как однажды по тревоге нас погрузили в военные грузовики и отвезли километров на 15 назад. И снова начали копать длинный извилистый противотанковый ров. И опять сзади нас красноармейцы ставили колючую проволоку. В центре большого села, где мы жили, на широкой поляне между порядками домов стояли уже дальнобойные пушки. И почему-то именно к вечеру, когда мы возвращались с работы, они начинали мощно, раскатисто громыхать. Знакомые с военным делом, мы понимали - это значит, что немец уже где-то километрах в двадцати (дальнобойнее 25 км пушек у нас не было).

Но и артиллерийская канонада слышалась все ближе. Иногда не утихала целыми днями. А ночами над нами пошли вскоре армады бомбардировщиков - на Москву.

По тревоге нас снимали с недорытых рвов еще три раза. Отвозили на 10-15 км и мы опять приступали к своему уже явно бессмысленному рытью. Немцы легко обходили эти наши "линии Мажино" - мы это определяли по отдаленным взрывам снарядов и бомб, которые рвались уже с боков и даже, казалось, в нашем тылу.

И вот по прошествии времени не раз я задумывался: какая это была глупость даже с чисто стратегической точки зрения (наряду, конечно, с другими, гораздо более преступными). Ведь вместо идиотского, обреченного с точки зрения эффективной обороны занятия, на которое брошены были десятки тысяч студентов Москвы и других городов, можно было за несколько дней создать сильные боевые отряды. Эти уже обученные военному делу ребята, как правило, спортивные, знающие оружие, полные тогда, в первые месяцы войны, патриотического идеализма, были готовы к "героическим подвигам". Они знали друг друга и значит были повязаны коллективным мужским долгом чести, где и трус, даже если человек от природы к этому предрасположен, вынужден был бы вести себя "как все". И не в ополчение их надо было загонять рядом с папашами, а то и дедами и мальчишками, не окончившими школу. А формировать из них особые ударные части, умелые, подвижные и, поскольку набраны из образованных ребят, может даже, более эффективные, чем чисто кадровые.

Жестко? Может быть. Но ведь все равно большинство из них погибло, попав на фронт в составе обычных подразделений, растворившись среди едва обученной, "серой" массы новобранцев, не реализовав до конца себя как воинов, способных на большее, чем им позволили.

Наверное, тут не только глупость и не только бардачно-паникерское состояние властей и высшего командования в тот момент. Сказалось, по-видимому, и идеологическо-охранная установка, может, и не осознанная, но отработанная партийной привычкой, - на усредненность рядового состава, на его разношерстность, исключаящую превращение полка, батальона, роты в единый организм, способный отстаивать свое достоинство, раз уж готов платить за "порученное дело" жизнью. То есть установка на послушность, покорное подчинение (даже и произволу), на преднамеренный антидемократизм. Уже в ходе войны стихийно возникали подобные подразделения-коллективы, особенно среди разведчиков, частей

специального назначения (летчики - особая статья). Но это - редкость. А воевали они отменно и с меньшими потерями.

Я отвлекся... Наше поэтапное отступление от Снопоти к Москве продолжалось до начала сентября. Мы рыли, немец обходил наши сооружения, нас срочно отвозили дальше, мы опять рыли, он опять оказывался у нас за флангами и т.д. Хатунцева рядом уже не было. Его хватил сердечный приступ и он был отправлен домой, подарив на прощанье мне свои штаны (мои собственные превратились в лохмотья).

Однажды после работы нас строем повели прямо к железнодорожной станции, километрах в трех от села, где мы расположились. Эту станцию бомбили почти каждый день. Команда - по вагонам (на этот раз уже теплушки, на трудфронт мы ехали еще в пассажирских). И паровоз сразу рванул. Без единой остановки с бешеной скоростью он гнал к Москве. Утром мы были уже на Киевском вокзале. Выскочили из вагонов, бросились к паровозу, вытащили машиниста и начали его качать под бурные крики тех, кому не удалось до него дотронуться.

Говорили, конечно, что сделано это было по приказу Сталина. А как же иначе! Но дело в том, что вернули в Москву только второй, третий и четвертый курсы. Первый и пятый во главе с Гефтером остались. И кончилось это плохо. Они, в конце концов, попали в полное окружение. Выбирались поодиночке и не всем это удалось. Гефтеру пришлось зарыть свой партбилет, но до Москвы он дошел. С этого момента начались у него "последствия", от которых он не избавился, даже провоевав три года рядовым и сержантом. Звезда его как пламенного большевика закатилась (вернее, ее погасили!). И взошла спустя сорок лет уже из-за другого горизонта.

Итак, я вернулся в Москву. В университете нам даже какие-то деньги заплатили за трудфронт. Я пошел в коммерческий магазин (знаменитый "чайный", на Кировской), купил на всю сумму шоколаду и явился к своей любимой Любе. Сразу же заметил, что что-то не то. Она была смущена и не рада. Не понимая, что происходит, не закрывал рта, рассказывая о "боевом крещении" и т.п. К вечеру вдруг пришел Хатунцев. Меня это удивило. До войны они даже не были знакомы - учились в разных группах, на разных потоках. Хотя, когда его увозили "с сердцем", я его просил зайти к Любе, дал

адрес и письмо. Пошли опять "свежие воспоминания", в которые включился и Володя. Дело к вечеру. Комендантский час. Остались ночевать, конечно, все трое в разных комнатах. Среди ночи я таки, крадучись пошел к Любе. Дверь оказалась запертой. Удивившись, ткнулся в комнату, где лег Володька... Его там не было!

Что в таких случаях бывает с молодым влюбленным, описано, наверное, в сотнях романах.

Как только рассвело и можно было уже, не рискуя попасть в милицию, выйти из дома, собрался и побрел пешком в свою Марьину Рощу.

Я медленно приходил в себя. Бродил по Москве, захаживал на факультет, даже заглянул в Ленинку, просто так - посидеть. Однажды, оказавшись на Арбатской площади, наблюдал, как немецкий бомбардировщик, что называется, "среди бела дня", пикировал не то на Бородинский мост, не то на Киевский вокзал. И ни истребителей не появилось, ни зенитки не затарахтели по нему. Прошла в хорошем строю великолепно экипированная рота - с (ныне) Суворовского бульвара на Арбат, "на запад", на фронт. Особенно запомнился замыкающий ряд красноармейцев с разобранными "максимами" на плечах. Решил - пора и мне туда.

Пошел в комсомольское бюро - там записывали добровольцев. Мне назначили день, когда явиться в военкомат в Столовый переулок возле Никитских ворот. И судьба моя была решена. Но в названный мне день в военкомат я не пришел. И на факультете подумали, что я струсил (спустя много лет после войны одна моя сокурсница, комсомольская деятельница, напомнила мне об этом, с явным намеком, что она и сейчас так думает). На самом деле причиной была моя любовь, Люба. Я все ходил и ходил по переулку Стопани, надеясь наткнуться на нее: может, что-то изменилось, может, какое-то недоразумение тогда случилось? Увы! Окончательно поняв "свое положение", я пошел собираться. Подойдя к дому, увидел - отец с братом пилят дрова. Подошел. Отец пригласил присоединиться. "Нет, говорю, - я на фронт". "Ну что ж, - отреагировал он, - когда-то все равно придется".

Обрядили меня на этот раз основательно. Не то, что при отъезде на трудфронт в конце июня. Напялил я отцовские охотничьи сапоги, взял

овчинный черный полушубок, напихали мне теплых вещей и еды в мешок. Бабушка, как я уже писал, проводила "до ворот", а до военкомата поехали со мной мама, сестра и Геня. С этой девушкой меня познакомила подруга Левки, брата. А с нею его свела наша с ним поездка в Куртуз-Березку. Отец служил там вместе с ее, Ириным, отцом. Геня училась на первом курсе истфака. Знакомству нашему было несколько месяцев и было оно какое-то необязательное, бывала она в Роще то с Ирой, то одна, провожались иногда из университета. Но на день рождения за месяц до начала войны уже наедине целовались под аккомпанемент бабушкиных выкриков из соседней комнаты: "Только, смотри!" В общем я не противился ее влюбленности, а она все принимала всерьез... А потом "всю войну меня ждала".

В военкомате я попросил, чтобы меня направили в летное училище. Но прежде всего меня обрили наголо, и это стало первым унижением в моей военной службе (усы, правда, оставили, потом, уже в части, старшина и усы приказал сбрить). Что у меня сильная бронхиальная астма, я не сказал. И при осмотре ее не обнаружили (она, действительно, нераспознаваема в состоянии ремиссии). Однако оказалось, что у меня из-за плохой носоглотки неподходящий для летчика вестибулярный аппарат. И - забраковали. Тогда я попросил направить меня в лыжный батальон, сославшись на то, что по этой части в университете я "бил рекорды". Уважили. И какая-то пометка в моей препроводилровке была, наверное, сделана, потому что, несмотря на все бардачно-пересылочные перипетии, я все-таки в лыжный батальон попал.

Когда выходили на посадку в автобусы, главной моей заботой было - не снять шапку (единственная красота на моей физиономии - прическа - была ликвидирована). Не хотел, чтобы меня "навсегда" запомнили "таким" мама и другие.

Человек пятнадцать нас очутилось в автобусе. И поехал он не "на запад", а на Курский вокзал, где в пассажирском вагоне мы сами, во главе с назначенным в военкомате "старшим", должны были доехать до назначенного пункта под Горьким. И так, за первым унижением последовало первое разочарование. А когда на другой день мы оказались в печально знаменитых Гороховецких лагерях, наступил полный крах романтическо-патриотического энтузиазма. На огромном пространстве - землянки длиной метров по сто. В них копошились и болтались рядом без дела тысячи и

тысячи мобилизованных, свозимых сюда со всех концов страны. Внутри этих лагерных устройств ничего не было, кроме земляных же сплошных нар, чтобы спать вповалку. Редкие окошечки давали сумеречный свет неподалеку от себя, остальное находилось в полутьме даже при солнце. За едой я не стал ходить, потому что разливали что-то непонятно отвратительное, а голодухи еще не хлебнул и что-попало есть был не готов. Питался эти дни из домашнего мешка. Ужасающее впечатление произвел "туалет". Запомнил я это на всю оставшуюся жизнь. Когда первый раз спросил у сторожила - где, он махнул рукой в сторону соседнего редкого леса. Я пошел. Просека метров пятьдесят шириной. И там не было "живого места" - загажена настолько, что одной ногой ступить между испражнениями было невозможно³.

Ситуацию обсуждали с Гафтом, студентом со второго курса истфака, с которым познакомились в поезде. Сидели, греясь на солнышке, опершись спинами на электробудку. И горестно прощались со своими представлениями об условиях для свершения нами "славных подвигов во имя Отечества"... Мы же добровольцы, а нас в эту общую вонючую людскую кашу из тех, кого забрили насильно! Здесь, вероятно, впервые проскочила во мне искра презрения к "бойцам и командирам", с которыми пришлось скоро и ехать на фронт, и воевать, заодно - и чувство бессмысленной обреченности. Впрочем, она же первое время питала и мое, удивлявшее меня самого, пренебрежение к опасности...

Примерно через неделю была объявлена тревога. Всех подняли ночью, наскоро кое-как построили и начался марш, опять же в неизвестном направлении. Он длился сутки с редкими привалами. Как установили потом - 85 километров. Пройдя половину к следующему полудню, колонна примерно в тысячу человек начала распадаться, оставляя за собой тех, кто не мог подняться. Когда мы в сумерках добрались до окраины Горького, уже никакой колонны не было. Брел каждый как мог, цепляясь за изгороди, ища опоры у близ идущего такого же. То и дело падали, подымались, уже не в силах материться и проклинать все на свете, буквально ползли, да-да, на четвереньках. Давно побросали, что привезли с собой из дома и захватили, "выступая в поход".

³ Прочитав в 1994 году роман В.Астафьева "Черная дыра", я поразился сходству - он описывает аналогичный лагерь под Новосибирском.

Наконец, добрались до Марьиной Рощи (оказывается и под Горьким была местность, носившая название моей "родины"). Тут был приготовлен лагерь из свежесрубленных деревянных полуземлянок, чистый, еще никем не освоенный по-гороховецки. Повалились на нары как попало, содрав с окровавленных мозолей обувь.

Неотступно вспоминая это мое первое соприкосновение с армией, я не нахожу разумного ответа: почему так по-скотски поступали с молодыми людьми, которым вот-вот предстояло ехать на фронт? Какая была воинская или, может, воспитательная (?) необходимость гнать их почти сотню километров, чтобы потом кто три дня, а кто и неделю не мог передвигаться?! Не говоря уже о том, чтобы выполнять боевую задачу.

А вскоре нас еще стали унижать запугиванием. Проводились публичные, в присутствии всего лагеря военные трибуналы, где приговаривали к расстрелу дезертиров - и не с фронта, а, скажем, за то, что человек сбегал из эшелона домой, проезжая мимо родных мест. Отвратительная процедура, вызывавшая бешеную ненависть к аккуратно обмундированным, чистеньким, в портупелях, прокурорам и судьям.

Настроение было перманентно гнусное. Ощущал себя куском пушечного мяса... Потрясением было - для ориентированного на "философическую" духовность и генетически патриотичного юноши - столкнуться с реальностью того, как готовят к защите Родины.

Начались занятия. Действительно, в этом лагере готовили лыжников. Меня определили в минометный взвод лыжного батальона, назначили скоро командиром отделения, присвоили "сержанта" - два треугольничка в петличку, которых я так никогда и не прицеплял. Единственно, чему я там научился, это минометному делу: 82 мм и 47 мм минометы и приемы стрельбы. Да еще обращению с толовой взрывчаткой. Остальное знал (от своего университетского военрука) не хуже, а даже, бывало, лучше кадрового взводного и ротного. Но не козырял этим, естественно, и даже делал вид, что "вникаю".

И опять же недоуменный вопрос (с точки зрения военной целесообразности): зачем же три года в вузе тратили время и деньги на нашу, довольно серьезную, военную подготовку, если, когда настал час, бросили в общую массу полуграмотных провинциалов?!

Раза два или три за время пребывания в этой Марьиной Роще поднимали нас ночью по тревоге: за несколько секунд надо было одеться, выскочить из барака и разбежаться по вырытым рядом щелям: бомбежка. Видно было на фоне темного неба, над верхушками деревьев, как немецкие самолеты довольно низко шли бомбить "ГАЗ им.Молотова".

Прошло полтора месяца. О событиях на фронте мы знали, наверное, меньше, чем гражданские. Даже о панике в Москве 16 октября ничего путного до нас не дошло. По поведению взводного я вычислил, что скоро нас отправят воевать. Он стал необычайно ласков, обходителен, прямо друг-товарищ. И притом все-таки рассчитывал, что его с нами не отправят, оставят обучать тех, кого пришлют взамен. Так и случилось. А поведение его объяснялось просто: из госпиталей доходили рассказы о том, как поступали на передовой с командирами, позволявшими себе охальничать с подчиненными в тылу.

И вот наступил день сборов. Нас обмундировали в великолепные лыжные костюмы из зеленой диагонали. Куртки с пояском, шаровары, ботинки, валенки новые. Такой формы еще никто не видывал. (Потом, на фронте, нас воспринимали в этой одежде как нечто "избранное", особое, а иногда - и с подозрением.)

Строем, с лыжами "на плечо" прошли мы по главной улице Горького к вокзалу. Люди стояли на тротуарах, махали вслед, плакали, напутствовали. Ко мне - я шел чуть поодаль как командир отделения, - подбежала девчонка. "Толя! Не узнаете?!...". Оказалась студентка с моего курса, горьковчанка. Взяла под ручку, прошла рядом, прослезилась...

Впервые, на короткий миг этого марша по городу, я почувствовал себя "достойным защитником Родины". Увы, в эшелоне быстро все встало "на место". Ехали к Москве, уже известно было, что началось контрнаступление. Когда эшелон перегоняли по Окружной и он застрял на пересечении с Ленинградским шоссе, мне удалось из автомата дозвониться отцу на работу. Он каким-то образом сумел сообщить матери и она примчалась буквально за несколько минут до отправки состава. Конечно, слезы, объятия, благословения. Всучила мне сверточек с пирогами. Я его кинул на нары, а сам высунулся в еще не задвинутую дверь и махал, махал рукой, пока мама не скрылась из виду - поезд начал поворачивать. Но когда я обернулся и

хотел взять сверток, его не оказалось. Оглядываю, спрашиваю. Никто ничего не видел, ничего не знает! И нагло, ухмыляясь смотрят мне в глаза. Еще урок! Окончательно понял, с кем вместе мне придется воевать. А я ведь какой-никакой был их начальник, "отделенный" командир. Это были парни мещанских городков - Арзамаса, Моршанска, Выксы, Мурома, Саранска. Из крестьян был только один, Чугунов, с которым, единственным, я потом, можно сказать, сдружился.

Выгрузили нас на Сходне. Узнали, что батальон наш (а это 750 человек) придан 1-му гвардейскому стрелковому корпусу (1-й ГСК) 1-й Ударной армии.

Помню овраг в самом поселке среди домов, где мы становились на лыжи под совсем рядом сыпавшуюся пулеметную и автоматную стрельбу. Двинулись одной длинной колонной через улицы к лесу. Развернулись. Впереди на противоположной опушке метрах в трехстах шел бой, рвались мины. Сплошной перестук пулеметных и автоматных очередей, винтовочные выстрелы. Мы стояли. И опять это странное чувство - как летом при наблюдении за "каруселью" - будто происходит что-то ненастоящее, какая-то игра. Смеркалось. Команда - двигаться по опушке. Прошли километра три и вроде бы уже обогнули то место, где видели бой, который утих. Перед нами деревня, которую не было видно за лесным мысом с первой нашей позиции. Некоторые дома горели. Снова команда - занять оборону по дальней околице. Там мы промерзли до утра, ночью стрельбы ниоткуда не было слышно. На утро нас напрямик вернули к железнодорожной станции. Сразу же подкатил эшелон и, быстро приняв наш батальон, двинулся назад к Москве. (Тем и кончилась моя битва за столицу. Тем не менее два года спустя мне вручили медаль "За оборону Москвы".)

Опять перемещались по Окружной. Потом съехали на другое направление. Скоро я узнал знакомые дачные места - нас везли по Савеловской. Везли долго. Эшелон маневрировал на каких-то окольных путях, то и дело возвращался вспять. Наконец, в одно морозное утро - явно под 25 градусов - выгрузили прямо посреди поля.

Только много- много лет спустя, когда штабными полковниками были написаны книжки по истории военных действий в Отечественную войну, я разобрался, в чем нашему батальону предстояло участвовать. Нас высадили

где-то в районе Парфино, километрах в двадцати к востоку от Старой Руссы. Лыжники должны были участвовать в окружении мощной Демьянской группировки немцев, прорвавшихся к этому городку еще осенью. Ставка, вдохновленная успехом контрнаступления под Москвой, решила провести первую, "престижную" операцию на окружение и уничтожение. Для чего не пожалела направить туда по тем временам отборные войска, сняв их с западного направления. С юга вдоль реки Ловати наступала 3-я Ударная армия, с севера должна была замыкать кольцо 11-я армия и 1-я Ударная, в составе двух корпусов, в том числе 1-го ГСК, куда входил наш батальон. Операция, как признают сами полковники-историки, проходила безалаберно, вяло, с огромными потерями. Хотя окружение и состоялось, разгрома не получилось. Все это я испытал на себе.

Первую ночь после высадки мы переночевали неподалеку в деревне. Она была совсем целой, но жители, убежав из нее, пробили дыры в печных трубах. Я недоумевал - зачем? Крестьянский сын Чугунов разъяснил - это чтобы те, кто придет в дома - наш брат, например, - не топили: от неумелой топки и пожару недолго случиться. Не знаю уж по этой ли причине, или по какой другой, но к утру у нашего взводного обнаружилось воспаление легких. Его куда-то эвакуировали, а меня назначили командиром взвода. Утро. Яркое солнце. Слепящий снег. Мороз градусов под 30. Вытянулся батальон. Причем выяснилось, что на лыжах мои солдатики не очень-то умеют ходить - все норовили передвигаться по проложенной автомобилями колее пехом, а лыжи сгружали на волокуши для минометов.

Кстати, с моей волокушей случился у меня казус. Нас то и дело обгоняли санитарные машины. Двигались они медленно, дорога была еще "свежая", не утрамбованная колесами. И я решил прицепить свою волокушу с минометом за одну из них. Сам лег сверху. Она меня тихонечко тянула. И вдруг машина выехала на широкий, наезженный тракт и понеслась. Я продержался не больше минуты. Волокуша перевернулась. Я остался на дороге, а все мое имущество - вещмешок и миномет, хорошо привязанный, укатили неизвестно куда. К счастью, через километр в перелеске стоял медсанбат, куда я и сбегал за своим "хозяйством". Там я впервые увидел страшную картину крови и смерти. Раненых снимали с волокуш, из саней. В палатках не хватало мест, они лежали на морозе. Стоны, ругань. И рядом -

уже трупы, огромное количество окровавленных бинтов, залитые замерзшей кровью сугробы. Я вернулся к своим оглушенный...

Батальон остановился. И тут впервые (!) я услышал командира батальона. Он собрал, наконец, командиров рот и взводов и, показывая на стоявшее вдали плоское строение, "ставил задачу": это фанерный завод, он на том берегу Ловати, там - немецкие пулеметчики и снайперы. Необходимо прорваться на тот берег по тракту, который пересекал реку метрах в ста от этого завода. Искать другой переход, пробираясь по метровому снегу, причем все равно на открытом пространстве в пределах досягаемости немецкого пулемета - невозможно, опоздаем к месту прибытия согласно приказу. Вот примерно смысл того, что говорил комбат.

Мне было приказано подавлять пулеметчика в фанерном заводе своими двумя 82 мм минометами. Развернул. Начали стрельбу, мины попадали и в само строение. Но как только первые лыжники вышли на лед реки, пулемет опять заработал. Падали, ползли, перебежали. Я понял, откуда такие "свежие" раненые в медсанбате: это из тех, кто прорывался до нас. Я продолжал стрелять, пока не кончился боезапас, рассчитанный на двадцать минут. Свернулись, побежали через реку и мы, минометчики. Благополучно, хотя разок полоснула короткая очередь и по нам. Немец, видно, вынужден был экономить патроны.

Вот такой странноватый бой. Кстати, это был не только первый, но и последний мой бой в роли минометчика. В дальнейшем переходе сначала оказались без мин, потом решено было и сами минометы оставить в хоззведе. А он безнадежно отстал и, казалось, совсем затерялся: мы остались и без продовольствия, попрошайничали у попадавших на пути других частей. Это очень мучительно - голодному на морозе. Однажды ночевали в сарае доверху заполненном сеном. Все "в душе" сжалось от голода и холода. Вышел. У избы неподалеку дымилась походная кухня. Подошел поближе. Выждал, когда повар ушел в избу. Рванул с котелком, открыл кран. Потекла недоваренная жидкая каша... И в этот момент повар выскочил из двери, упал на колени и лягнул затвором карабина, обдавая меня матом. Я был безоружен (минометчик!), да и у многих стрелков не было в нашем роскошно экипированном "особом" батальоне даже винтовок. Будь у меня автомат, кажется, полоснул бы по повару, во всяком случае - кто

вперед. Такое было отчаяние. Я закрыл краник котла, набралось полкотелка. Повернулся и медленно пошел. Повар продолжал грозиться и орать. Но не выстрелил даже вверх.

Батальон шел как попало, лыжи уже большинство либо поломали, либо просто забросили. Протаптывали поочередно колею в глубоком снегу и брели, брели, не зная - даже командиры взводов не знали, - куда и какова задача. Я не переставал удивляться, как могли поставить во главе лыжного батальона - подразделения все-таки "особого назначения" - такого кретина. Он был глуп, груб, совершенно беспомощен как организатор, кажется, совсем не смыслил в деле, которое ему поручено - этот толстячок с длинным закругленным носом и пухлыми щечками, старший лейтенант. Ко всему прочему, как потом оказалось, панический трус и негодяй. Но он не был исключением.

Вот еще один случай из того "первого боевого похода". Я уже говорил, что клочки батальона часто теряли друг друга из виду. Однажды такая группа вокруг меня, человек пятнадцать, проходя деревню, упустила из поля зрения тех, кто шел впереди. Был уже поздний вечер. В деревне явно стоял какой-то штаб и я решил зайти в избу с освещенными окнами, спросить - может, там знают, куда делась голова колонны. Часовой меня остановил у крыльца. Я говорю: поди доложи. Он постучал дулом в окно. Вышел командир, видно, среднего ранга. Спросил, кто такие. Я назвался: взвод 203-го отдельного лыжного батальона. Что надо? Сказал. Лейтенант вернулся в избу. И буквально через несколько секунд на крыльцо выскочил большой начальник (судя по суконной гимнастерке, по буркам на ногах и меховой безрукавке на плечах). Лицом, запомнилось, похожий на Троцкого. В руке - маузер. Размахивая им перед моим носом, он истошно, визгливо орал: "Дезертиры! Сволочи! Марш в свою часть! Я вам покажу! Расстреляю всех и вас (на "вы" меня!) первого". Я откозырял, махнул ребятам рукой и пошли за околицу, сопровождаемые его угрозами. Неужели, комиссар? - подумалось тогда. Впрочем, позже я встречал настоящих комиссаров...

Вот так мы мало-помалу приближались к выполнению боевой задачи, о которой знал только вышеупомянутый комбат.

Батальон растянулся колонной "по-одному" вдоль нескончаемой опушки могучего леса. Остановились. Дело к ночи. Комбат собрал

командиров. Показал: вон вдаль на пригорке деревенька. Там ночуем. А с утра - в наступление. Будем брать Онуфриево-Великое Село на развилке дорог - узел снабжения немецких войск здесь. И потом будем удерживать его до подхода основных наших частей. Сообщил, что линию фронта мы уже прошли. Прошли незаметно. И сейчас мы в тылу врага.

Стоит, видимо, пояснить - не всякий взявшийся читать мои записки, знает: на Северо-Западном фронте, от Новгорода до Холма и дальше почти до Ржева "линии фронта" зимой 1941-42 года. как таковой не было. Немцы занимали одни деревни, наши другие, а чаще - зарывались в снег вблизи некоторых немецких опорных пунктов, "держали оборону". Немцы ходили почти беспрепятственно в наши ближние тылы за более или менее условной чертой, отмеченной лишь на штабных картах. И мы ходили - как вот на этот раз наш батальон - к ним за эту "условную" линию.

Я задал комбату вопрос: как же буду наступать, когда в моем взводе винтовка появилась только у меня одного, у остальных - ничего. Он довольно зло заметил: пойдут во втором эшелоне, потом соберешь, и оружие достанешь - трофейное.

Батальон двинулся к деревне через поле, утопая в метровом снегу. Расположились по избам. Деревня была жилая. Мой взвод оказался в доме с большой семьей. Старик, молодуха и несколько девчонок примерно от пяти до двенадцати лет. Женщина поставила в печь огромный чугунок с картошкой. И скоро мы расселись вокруг него посреди комнаты, почему-то прямо на полу, на корточках, кто как мог. Старик пододвинулся ко мне. И все увещевал, помнится: сынок, сынок, ну что ж вы так беззаботно-то. Даже часового не выставили. Вдруг - патруль. Гранатами в окна забрасают - мало ли что.

Я вышел на двор, завернул за хлев (заодно - "до ветру"). Небо чистейшее, все в звездах. Тишина звенящая. Мороз, хрустящий снег. Запал мне в душу навечно этот момент: ведь завтра первый, наверное, настоящий бой. Постоял несколько минут, поразмышлял о жизни и смерти, о красоте "равнодушной природы". Вернулся. Назначил кому за кем стоять у дома на часах. Дал первому свою трехлинейку.

Рано утром - сбор на деревенской улице. Прямо так, гуртом, кто с оружием - впереди. Повел колонну младший лейтенант, адъютант-старший

батальона (так назывался по штату батальонный начальник штаба; я потом был в этой должности). Комбата не было видно. Пошли. За околицей развернулись в километровую редкую цепь. До Онуфриева-Великого Села было километра полтора-два. И вот началось наше наступление по колено, а то и по пояс в снегу, на открытом поле.

Для немцев наше появление было явно неожиданностью. И судя по неорганизованности сопротивления, гарнизона в селе не было. Скорее, это была передовая база снабжения близлежащих опорных пунктов. Однако, когда приблизились к селу метров на пятьсот, заклокотали пулеметы. Заработали и наши "дегтяри" (ручной пулемет с диском на 47 патронов). То и дело погружаясь по пояс в снег, мы постреливали из винтовок в общем-то куда придется, в основном "на шевеление" (вспомнил попавший журналистам на язык термин при расстреле Белого дома 4 октября 1993 г.). Рядом, метрах в десяти от меня, шел бывалый солдат, он появился в горьковской Марьиной Роще из госпиталя, успел повоевать еще летом. Крупный, ладный, мордатый, симпатичный, хотя и мрачный. Уже знал что - почем. Все и вся крыл матом. И никаких надежд ни на что не питал. Раза два-три, еще в эшелоне, мы с ним поразговаривали. Осталось у меня от этих разговоров одно - если так будем воевать, как летом, хана нам. Теперь, наверное, он убедился, что воюем еще хуже.

Вдруг он схватился за руку. Я ему: "Что?" "Хватануло", - спокойно ответил он и сел в снег. "Ты,- говорит,- иди-иди, я знаю, как с этим обращаться". Я пошагал дальше, боясь как бы валенок в снегу не оставить. Между домами, видно было, забегали немцы. Кто запрягал лошадей, кто чего-то потащил, кто стрелял по нам. Передо мной маячило большое дерево, дуб, совсем уже на задах ближайшего дома. Я взял его за ориентир и ускорил ход. Совсем уже почти добрался до дерева, как из-за поворота деревенской улицы выскочили сани, лошадь мчалась в оглоблях галопом. В санях стоял мужик в размахае и в распахнутом полушубке, а сзади него три немца, опершись на огромные (метр диаметром) круги сыра, наваленные друг на друга, поливали из пулемета наступающих. Я успел-таки спрятаться за ствол дерева. Очередь резанула по нему, только щепки и кора полетели. Сани уже мчались, повернувшись ко мне задом. Я стал палить по ним, перезаряжая свою грешную. Вряд ли попал.

Выскочил на деревенскую улицу. Стрельба шла и тут и там, не разберешь. Перебежал на другую сторону и хотел было вбежать на крыльцо, чтобы там укрыться. Но увидел, что вдоль изгороди за огородом пробирается по снегу немец, видимо, рассчитывая незаметно рвануть к лесу. Я пристроил винтовку на плетень, хорошо прицелился, выстрелил. Немец ткнулся носом в снег.

...Когда меня после войны некоторые не очень деликатные люди спрашивали (и внук в раннем детстве задавал такой вопрос), сколько немцев я убил лично, я иногда рассказываю об этом случае. Не знаю, скольких достали мои первые и последние мины, мои пули из ППШ и из "максима" потом, но этот-то немец, наверняка, был убит из моей винтовки.

Бой затихал. Я вошел в дом. В нем - никого, хотя чувствуется, что натоplen значит, жилой. Богатый. Там, на севере, дома ведь просторные, на высоком фундаменте, иногда в полтора человеческого роста, ухоженные, светлые, окна в наличниках, пол из досок полуметровой ширины. Вот в такой дом я вошел. Огляделся. Вышел на улицу. Вижу уже бредут к деревне "безоружные", которым комбат определил наступать "во втором эшелоне". Среди них - "мои". Завел их в "отвоеванный" мною дом. Но удержать их там оказалось невозможно. Бросились рыскать по подвалам, соседним домам, по амбарам и банькам. Оказалось, что в этом селе, действительно, располагался богатейший склад всякой всячины - оружия, боеприпасов, обмундирования, продовольствия, вина. И потащили все это ребята. Вооружились кто "шмайсерами", кто немецкими винтовками, были там и ихние трофеи - советские автоматы и пулеметы. Я обзавелся ППШ и не расставался с ним до конца 1943 года, когда был отправлен на курсы переподготовки офицерского состава в Вышний Волочек. Два диска на поясе, один в самом автомате - в общей сложности 243 патрона - о чем еще мечтать после трехлинейки-то и с безоружными подчиненными?!

Но самое главное в тот момент - еда. Чего только не натащили ребята в дом. Разные колбасы, удивительные хлебы, масло, сыры, шоколад, какие-то супы и непонятные каши в брикетах, консервы всякие, несметное число бутылок французского вина. И пошел пир...

Перехватив того-другого, выпив стакан, я все же решил сходить "доложиться" к комбату (поскольку я все еще числился командиром

минометного взвода, то у меня ротного не было, подчинялся напрямую комбату). Хотя я его уже глубоко презирал, но черенок дисциплины во мне сидел прочно, по этой части я был "примерным" мальчиком и студентом. Заодно посмотрел и на взятый нами "объект". Село оказалось двойным, недаром и название двойное - Онуфриево-Великое Село. Раскинулось по обеим сторонам речушки, которая текла в глубоком овраге. Великое Село - на той стороне, там расположилось "командование". А я со своим взводом - в Онуфриево (едва ли десяток домов). По дороге видел - в каждом доме происходило, то же, что и в "моем": шум, гогот, беготня с чем-нибудь таким в охапку. К комбату меня не пустили. И никакой очередной задачи я не получил. Младший лейтенант - начштаба бросил: "Действуй по обстановке". Так и побрел обратно.

Побитых немцев по дороге не встретил, видно, успели смыться из-под нашего не шибко "плотного" огня. наших раненых - человек пятьдесят - поместили в школе, просторном "двустворчатом" доме. Зашел навестить своего напарника "по атаке". Он сидел на лавке, держал рукой другую, перевязанную. Вроде обрадовался мне. Поговорили... Больше я его уже никогда не видел.

Смеркалось. Ребята мои вповалку устраивались спать на полу. Один "умелец", поставив на сошки среди спящих немецкий "MG" (ручной скорострельный пулемет), начал в нем ковыряться, "осваивать". И вдруг этот пулемет яростно затарахтел. Из ствола - огонь, пули над лежащими ребятами рубят стену. Что-то, видимо, заело со спуском. Сам "умелец", испугавшись, отпрянул, я бросился к пулемету, но он в это время сам умолк. Наступила зловещая тишина. Не успел я сказать этому парню, что я о нем думаю, как на него набросились и стали избивать. Еле оттащил.

Проблема для меня была - как обеспечить охрану дома. Выставишь часового на улицу, через пять-десять минут смотришь - он уже сидит в сенях на лавке и спит. Обругаешь, пошлешь другого - с тем то же самое. И так до утра.

Утром меня вызвали в штаб. Но не для разъяснения обстановки и постановки задачи, а чтобы поприисутствовал при экзекуции. В просторной горнице сидел за столом толстяк комбат. Рядом с ним - его заместитель,

начштаба и командир хоззвода, старшина. Поодиночке подходили командиры, козыряли, располагались по стене. Собрались.

- Введите! - скомандовал этот упырь. Двое ввели... кого бы вы думали?
- моего Гафта, с истфака. Без ремня, без шапки, без шинели.

- Вот этот, как тебя... Гафт? - покинул ночью самовольно пост.

Разводящий застал его спящим в доме, который он был поставлен охранять. Он нарушил присягу. Такие бойцы нам не нужны. Я приказываю его расстрелять. И чтоб все ваши бойцы знали, как будем поступать с такими...

Гафт в слезах бросился на колени. Среди командиров возникло какое-то замешательство. Я устремился к столу, начал что-то сумбурно говорить, что Гафт хороший, честный, я его знаю, он активный комсомолец, добровольно пошел воевать... Комбат тупо смотрел на меня: "Молчать, сержант!" - рявкнул. Гафта потащили во двор, вслед пошел командир хоззвода, весь в портупях, в галифе, гимнастерке и сапогах не по чину. Вскоре мы услышали пистолетный выстрел.

Грешен я. Не знаю, что о нем сообщили домой и сообщили ли вообще. Но когда в июне 1945 года я на несколько дней был отпущен в Москву, прибежали его родители и сестры. Они жили во 2-м проезде Марьиной Рощи. Я сидел на диване и, кажется, возился со шнурками на ботинке. Мама вошла, сказала: родные просят тебя поговорить о твоём фронтовом товарище. (Видно, из его писем они знали, что мы с ним оказались вместе.)

Я громко, чтобы через коридор слышали у порога вошедшие, ответил: ничего не знаю о нем, мы потеряли друг друга из виду еще до начала боев. Мама тем не менее ввела этих людей в комнату. Я встал и начал что-то мямлить о том, как мы общались в Гороховецких лагерях, как ехали из-под Москвы на Северо-Западный, но потом началась такая неразбериха, было такое дурацкое командование, что батальон наш распался и я потерял вашего сына из виду. Ничего конкретнее, мол, не могу, увы, сказать... Они ушли, не поверив мне, - я не смотрел в глаза и говорил путано. Совесть до сих пор меня скребет. Но, наверное, правильно, что я не сказал им правды...

Возвращался я в бешенстве. Какая сволочь! И какое он имел право?! И это что же, я тоже должен был расстрелять моих ребят - часовых, которых заставлял в сенях спящими? Или побежать донести этому ублюдку?! Лучше

бы подумал, как быть дальше. Ведь деревню заняли и ничего не делаем. Сам же говорил, что мы должны ее удерживать "до подхода своих". А кто-нибудь обороной занимается?! Вернулся к своим. Ребята заметили, что я не в себе. Допытывались: что, мол, старшой, плохо? Плохо, ребята, отвечал. Но вопреки приказу не рассказал им, что произошло.

День прошел в ничегонеделании. Едва рассвело, услышали на окраине Онуфриева взрывы гранат, бешеную стрельбу. Схватив оружие, в чем попало бросились из дома. Из окон крайнего дома шел дымок. А от околицы быстро уходили на лыжах к лесу пять необычно одетых солдат. Тут уж я дал волю своему автомату, мои ребята тоже кто из чего палили по убежавшим. Ушел только один. (Это оказались финны, разведка - поэтому так необычен для нас был их наряд. Запомнил их - белобрысых, распластанных по снегу.)

Картина была ясна. Они беспрепятственно подошли к дому, который охранялся, наверняка, так же, как "мой". И забросали его в окна гранатами. Уцелевшие стали отстреливаться, их добили из автоматов. Погибло двенадцать наших.

Попутно замечу: в современной публицистике и даже научных статьях "ради объективности" утверждается, что финны, дойдя по Карельскому перешейку до своей прежней границы на реке Сестре, дальше не пошли, несмотря на все настояния немцев... И что больше они нигде с нами не воевали. Не совсем это так, судя по приведенному факту. Да и "кукушки" на ветвях деревьев, расстреливавшие наших сверху, когда те, ничего не подозревая, пробирались через лес, - были финны, и никогда - сами немцы. Немцы в лес не любили заходить, особенно ночью.

Из этого случая с разгромом крайнего дома, о чем я, конечно, доложил начштаба, никаких выводов сделано не было. Возмездие последовало на следующее утро.

Солнечное, со слепящим снегом, морозное. Врывается часовой (после эпизода с финнами с поста не уходили): "Немцы!" Большинство еще спало. Вскочили. Я успел схватить автомат и шинель, на которой лежал. Помкомвзводовская сумка (она отличалась большей скромностью от "офицерской") осталась висеть на гвозде. А там, между прочим, был и блокнотик с обрывочными дневниковыми пометками, что, кстати, запрещалось делать под угрозой трибунала.

Выбежал за дом, к плетню. Передо мной метрах в пятидесяти от ближней опушки двигалась цепь, середине офицер с парабеллумом над головой. Открыли огонь. Немцы залегли. Поднялись, пошли опять. Были слышны выкрики офицера. Сам он не стрелял, только размахивал пистолетом. Подбежал сзади боец: "Старшой, танки сзади!" Я бросился на улицу, прижался к фасадной стене дома. Вижу: в овраг к речке от Великого Села спускаются в нашу сторону три танка. Школа-госпиталь, которая была крайней у моста, вся в огне. Мелькнула мысль о раненом "бывалом солдате". Тот, кто мне сообщил о танках, стоит рядом. Я ему: ребятам всем назад, к крайнему дому (тому, разгромленному финнами) по улице и потом - в лес. Сам вернись ко мне... Против танков у нас ничего не было - ни гранат, ни противотанковых ружей. Первый танк уже вылез из оврага, идет по деревне. Вижу, как ребята, не добежав до того злополучного дома - и из других домов к ним уже присоединились - ринулись прямо по полянке к лесу. Не тут-то было: снег по пояс, может, чуть ниже... Поползли, только шапки видны над краем этих снежных траншей, проложенных телами. Танк остановился и начал садить из пулемета по ползущим. Сзади меня, за домом, стрельбы уже не было: значит немцы совсем тут, рядом. Я вместе с напарником бросился через дорогу. Падая, вскакивая, домчались мы с ним по улице до первой "траншеи" и поползли вслед своим. Выглянуть уже было невозможно: пули веерами стелились по самой снежной поверхности. Пушечные выстрелы доносились со стороны Великого Села - там, наверное, крушили дома.

Такими вот траншейными протоками добрались до леса. За опушкой стали скапливаться кто остался цел. Немного нас оказалось. Потом стало известно, что из 750 человек батальона уцелело только 150. Комбат не пострадал, он прятался от нас. "Руководил" начштаба. Он-то меня и определил в арьергард, дал человек десять, тоже с автоматами. Нас оставили на опушке, которая образовывала здесь почти прямой угол. Минут через десять мы увидели погоню. В маскхалатах по кромке леса в нашем направлении шла колонна лыжников. Сколько их, трудно было определить, в начавшемся снегопаде конца не было видно. Я решил не обнаруживать себя, не стрелять. И подпустив лыжников метров на 20, скомандовал отходить. Заметив нас, они остановились, но почему-то тоже не стреляли. Вглубь леса

за нами не пошли. Может, должны были убедиться (немцы все-таки!), не собираемся ли мы контратаковать...

К сумеркам, преодолев лес, вышли на большую поляну, и перед нами вдоль дороги замелькали черные точки бушлатов морской пехоты с выставленными в нашу сторону штыками. Почему-то они лежали, хотя противника перед ними явно не наблюдалось. Побалагурили, похлопали друг друга по спинам, поиздевались они над нами, горе-вожками. Мы побрели дальше в тыл. Они готовились завоевывать Онуфриево-Великое Село вновь. Видно, это была та самая морская бригада, до подхода которой мы должны были удерживать захваченный "узел дорог".

Так состоялся мой первый бой. Боевого духа он, как понимаете, не прибавил, но укрепил во мне рождавшуюся из презрения к начальству обреченную, безнадежную храбрость. Не стесняюсь так это назвать... Потому, что этой своей "манерой поведения" я "уважать себя заставил" и окружающих и тех, кому по службе подчинялся. На меня уже никто с тех пор не "орал": чувствовали, что я способен на все.

На другой день в какой-то полусожженной деревеньке мы приводили себя в порядок. Вышел я из дома. Мимо матрос в черной своей шинели, с СВТ на ремне. Остановился, молчит, улыбается, смотрит на мой ППШ. Я ему: "Ты что?" "Ничего, - говорит, - пойдем со мной кукушек пощелкаем... Вон в том леске". "Да я, - говорю, - вчера навоевался во!" Однако пошел с ним. Вошли в лес, взяли дистанцию друг от друга. Углубились. Слышу рядом сверху "трры-трры" - короткие автоматные очереди. В ответ винтовочный хлопок, один, другой. Кричу. Отвечает: "Жив!" "А кукушка?..." "А х... его знает!" В этот момент явно по мне "трры-трры". Вскинул ППШ, высадил наугад длинную веерную очередь. Опять тишина. Он мне кричит. Отвечаю: "Жив!" Мистика какая-то. Пошли дальше. Через минут десять повторилось примерно то же самое. Сошлись. "Вот, - говорит, - я каждый день так. Это - моя специальность. Но подстрелил за все время только одного". В самом деле, лес - вековые ели и сосны, огромные, каких под Москвой нет. Стоят вплотную друг к другу, покрытые густым слоем снега. Трудно отделить взглядом одно дерево от другого. И если человек в маскхалате сидит где-то у самой верхушки, увидеть его можно, только разве подойдя вплотную к дереву. Но зачем такая тактика? Наверное, чтобы мы, русские, тоже боялись

ходить через лес, обходя дороги и выходя на немецкие опорные пункты с неожиданной стороны.

Вернулись в деревню "без добычи". Он отвалил к себе, звал в постоянные напарники, мол, оформим в бригаду запросто. Но мой "дисциплинарный черенок" меня остановил, хотя батальон, якобы лыжный, вызывал во мне теперь просто отвращение. Не хотелось видеть "своих", пошел за деревню. Большая, накатанная машинами дорога. Прошелся по ней. Смотрю - чуть поодаль стоит тягач с гаубицей. Никого вроде рядом нет. Свернул. Нет, оказывается, на лафете с другой стороны сидит старшина. В распахнутом ватнике, ушанка на затылке. "Заходи, - говорит, - гостем будешь". Подсел. Смотрит на мои лыжные штаны из-под шинели. "Ты, - говорит, - не из тех, кого тут на днях долбанули, едва ноги унесли?" "Из тех..." Расспрашивать дальше не стал, серьезный спокойный мужик лет под сорок. "Есть хочешь?" "Хочу". "Ах, ты, котелка нет, да и разогреть негде... Ладно..." Взял с трактора каску, вынул "внутренности", наложил в нее доверху гречневой каши, вырубив ее кусками из замерзлого ведра. "Подожди!" - снял опять же с трактора большой жбан, отвинтил, налил полную кружку водки... "Вот теперь ешь!" А сам сидел и смотрел на меня.

Не знаю, почему там оказалась эта гаубица с тягачом, что там делал при ней этот старшина. Может, он мне и сказал, да не помню. В этом ли дело. Но каждый раз, когда вспоминаю об этом случае, горло перехватывает - от этой простой мужской сильной доброты.

Батальон наш, вернее то, что от него осталось после многодневного марша по страшному морозу (на одном перегоне отморозил щеки и нос, почернели, но обошлось) осел в Рамушево. Это огромное красивое село на высоком берегу Ловати, на главной (видно в свое время торговой) дороге между Старой Руссой и Демьянском. Окружение немцев в Демьянске состоялось. Но ни о каком уничтожении их там речи быть не могло - при такой организации дела и при таком оснащении, хотя "в оцеплении" стояли целых четыре армии, в том числе две ударных - 1-я и 3-я. Немцы превратили Демьянск и все населенные пункты в зоне окружения в ледяные крепости, с совершенной перекрестной системой огня и дорогами между опорными пунктами, огражденными с обеих сторон ледяными валами с бойницами и ледяными пулеметными вышками в видимости друг от друга. Снабжение и

смена личного состава, включая отдых в Германии, были налажены идеально. Каждый день армады трехмоторных транспортных самолетов "Ю-53", летая над самыми верхушками леса и "попутно" обстреливая из пулеметов разные наши объекты и "живую силу", доставляли в Демьянск все необходимое в более чем достаточном количестве. Редко-редко удавалось их сбивать, хотя летали они на высоте, доступной для автоматной очереди. Каждый раз, когда эти "юнкерсы" заставляли нас на марше в лесу или на открытом месте, мы яростно по ним палили... безрезультатно. А никакой эффективной борьбы с ними средствами ПВО начальство так и не придумало.

Неоднократные попытки часто менявшихся командующих Северо-Западным фронтом и армиями овладеть, например, Залучью или другими крупными селами на самой кромке окружения, кончались поражением и огромными бессмысленными потерями. Одно слово "Залучье" звучало проклятьем для тех, кто воевал возле Демьянского котла в ту зиму 1942 года.

Батальон имел задачу мелкими группами патрулировать дороги, поскольку, как я говорил, сплошного фронта как такового не существовало, и "условная" штабная линия проницаема была не только для разведывательных и диверсионных групп, но и для пехотных подразделений. В отличие, увы, от той линии, которую немцы соорудили по периметру котла.

Однажды вызывает меня "мой" комбат. Поинтересовался, почему я не бреюсь. Я смолчал. Поставил задачу: с двумя бойцами направиться к деревне Бяково (деревня, укрепленная немцами, находилась километрах в десяти от Рамушева в сторону Демьянска, на самом кольце котла) выяснить обстановку... Мне задание показалось странным. Бяково, как и Рамушево, располагалась на главном тракте Старая Русса-Демьянск, и уж армейскому командованию, должно было быть известно, кто там стоит с нашей стороны и что там происходит. Сомнения усиливались тем обстоятельством, что не сказано, что делать дальше - возвращаться ли, или пришлют замену, и если пришлют - где меня там найти и т.п.

Отправились втроем. Оказалось, что напротив Бяково стоят опять же матросы из бригады морской пехоты. Отправил одного из нас в Рамушево - доложить об этом. Прошло два дня - ни ответа, ни привета. Отправил другого: мол, позиции неизменны, постреливают с обеих сторон, никаких

намерений ввязаться в бой у моряков нет... Прошло еще два дня. И опять - ни слуху, ни духу. Матросики, у которых я вынужден был кормиться, посмеивались: запаса, который дали в Рамушеве (хлеб и комбижир) хватило только, чтобы дойти до Бяково, а зачем я здесь среди них, никто понять не мог, как и я сам. Но относились ко мне по-приятельски. То и дело приглашали на боевое дежурство: это значит, залечь на несколько часов в виду ледяной немецкой крепости, наблюдать и постреливать, если кто высунется или зазеваается. Дело - любопытное. А главное, хоть какое-то занятие, недаром чужой харч ем. Пробыл я там неделю. Никто из Рамушево не появился. Уже сам командир роты моряков предложил мне остаться у них. Обещал оформить все "законно". Но опять же сработала моя "дисциплинарка". Я решил возвращаться. Сходил последний раз с матросиком, особенно ко мне прикипевшим, "в секрет". Попрощался с другими и побрел в Рамушево.

Явился к комбату. Докладываю: так и так, задание вроде выполнил, что делать дальше - не было указано, довольствие давно кончилось, решил возвратиться... Он - в присутствии начштаба - помолчал. Потом, ернически обращаясь к нему, произнес: "А ведь перед нами дезертир, ушел с боевого поста!" Я, спокойно так: "Сейчас расстреляете, как Гафта или под трибунал?" Похихикали, начштаба был явно смущен. "Идите!" - сказал комбат.

Подозреваю, что тем дурацким заданием в Бяково он хотел втихоря отделаться от меня, чувствовал, что я вижу его насквозь, а унижить меня, придавить - не получалось. Останься я у моряков - искать бы не стал!

Батальон по-прежнему был занят патрулированием. Два эпизода из этой службы. Вдвоем ночью идем по санному пути, проложенному по руслу Ловати. Навстречу повозка. Проехала мимо. Обдала нас запахом горячего хлеба. А мы все время в своем батальоне голодали. Напарник говорит, надо было бы остановить, разжиться. "Ну, что ты, - возражаю, - неудобно..." Через метров двести опять повозка. Мой приятель выступает вперед, вскидывает автомат: "Стой! Кто идет?" Ездовой руки вверх: "Да свой я, хлеб вот везу... Что вы, ребята!" "Ну-ка дай посмотрю, какой это у тебя хлеб?" Подходит к повозке, не сводя дула с ездового, приподнимает брезент, там - россыпью душистые маленькие буханочки. Ездовой: "Да на вот, возьми. Мне не жалко,

по штуке-то не считают, обойдусь". "Ладно, двигай!" - сказал мой подчиненный, взял две буханки - мне и себе и опустил автомат.

Запомнил ведь не только потому, что смешновато, характерная сцена. А потому главное, что сам-то ведь никогда ничего подобного не позволил бы себе... А вот буханочку, добытую таким способом, умял с удовольствием.

Другой эпизод совсем иного рода. С этим же Малофеевым (кажется, так была его фамилия) патрулировали по дороге на то же Бяково. Опять же ночью. Подошли к мосту через речушку, приток Ловати. Видим - какая-то подозрительная кучка людей приближается к мосту с той стороны. Слышен разговор. Насторожились, оттянули затворы. Вошли на мост. С той стороны пять странных, оборванных полуголых фигур с руками за спиной. Сзади них пятеро в полушубках. Я двинулся было прямо на впереди бредущих, но из-за них выскочил один, вскинул карабин: "А ну, посторонись!" Первая мгновенная мысль была - нажать спусковой крючок. Тем более, инструкция: в непонятных ситуациях сначала стреляй, потом разберешься. Что-то меня остановило. Посторонился. Мимо провели немцев, видно, прямо с допроса. Мы с напарником остались на мосту, глядя вслед этой странной компании. Тут же за мостом они свернули в снег под откос к реке и через несколько секунд началась стрельба. Воздух пронзили жалкие, будто детские, тонкие вскрики: убивали пленных. Мы с Малофеевым стояли ошеломленные, будто нас приморозило к настилу. Те пятеро поднялись обратно на мост. Автоматы у нас были на изготовку у пояса. Люди в полушубках вроде чуть замешкались. Помялись, но пошли мимо нас. Один зыркнул на меня: "Вот так, братва... не тушуйтесь... тут рядом штаб дивизии". Я понял: он как бы оправдывался и значит, это ребята из комендантского взвода, "у которых такая работа".

Сказал в сердцах Малофееву: "Вот бы перестрелять их самих здесь на мосту!" "Ну, что вы!" - возвратил он мне мое восклицание, произнесенное намеренно в ответ на его предложение "позаимствовать" хлеба у ездового.

Вскоре наш 203-й отдельный еще называющийся лыжным (но уже без них) переместили выше по Ловати, непосредственно в распоряжение штаба 1 гв.с.к. Деревня, где он стоял, кажется, называлась Рахлицы. Задача наша была теперь - разведка. По-пятеро или по-трое мы направлялись за 10-15 км.

в тылы к немцам, на три-четыре дня. Занимали позицию вблизи дорог. И фиксировали, что происходит: сколько и когда прошло солдат, повозок, грузовиков, конных, патрулей, орудий... Словом, все, что на участке, назначенном на три дня данной группе, происходило, штаб должен знать во всех деталях. В стычки самим не ввязываться. Только если налетим на засаду или в случае погони.

Все бы ничего и дело явно нужное. Но опять же главная наша беда - кормежка. С собой давали столько, что хватало едва на сутки. Ведь постоянно на морозе, укрыться негде, да и что это за еда: хлеб, комбижир, редко - по банке тушенки. Вместо воды - снег.

Проработали мы так примерно месяц. И ходили не в сторону Демьянского котла, а на левый берег Ловати, к югу от Старой Руссы. Были разные эпизоды. В общем, ничего примечательного. Маршруты менялись, но быстро осваивались, по каждому из них ходили не раз. Про один эпизод все-таки расскажу - когда нас чуть было не подвел наш перманентный голод.

К ночи вышли на опушку леса, впереди в километре деревня, от нее в сторону Старой Руссы - тракт, за которым нам предстояло наблюдать днем с позиции чуть севернее деревни. Нас трое. Я старший. Говорю: может заглянем в деревню, накормят хоть или подзапасемся чем-нибудь. Согласились. Пошли напрямик полем. От луны светло... Шепчу: в первый дом не пойдем. Давайте вон третий выберем, огонек в окне теплится. Обошли задами первые два дома. Ребята встали за огородом, я пошел к крыльцу, потянулся, тихонько постучал в стекло. В избе погасили свечу. Но никто не вышел. Через минуту постучал сильнее. За окном появилось женское лицо. Замахала на меня руками. Слышу в сенях открывается дверь. Поднялся на крыльцо. Из-за двери: "Кто это?" "Свой". "Кто свой? Партизаны?" "Нет, красноармейцы". "Зачем?" "Есть хочется"... Приоткрыла дверь. Говорю: "Со мной еще двое". "Ладно, зовите". Сбегал за ними, вошли. Дед и двое малышей. Уставились на нас. Я говорю: "Мы на минутку, проголодались, второй день ни крошки во рту". Дед: "Откуда вы, сынки?" "С той стороны Ловати, в разведке мы". Дед невестке, видно: "Не зажигай, так покорми, луна вон". Усадили за стол. Женщина побросала в миски картошки, капусты, выставила молоко, хлеб. Хлеба еще и с собой запихнула в карманы шинелей. Такая вся ладная, быстрая, напряженная, хорошенькая лицом. Дед

говорит: "Опасно ведь здесь, сынки. Патрули каждый час по деревне проезжают. Смотрите... Все больше с той стороны (указал в сторону Старой Руссы). Обрато днем уходят". "А в самой деревне стоят?" "Соят. Целое отделение. В сельсовете, там дальше" (показал в противоположную сторону).

Стали прощаться. Старик перекрестил каждого. Молодка протянула из-под фартука руку и жалко улыбнулась. Мальчишки как встали с самого начала, так все эти несколько минут с места и не сходили, глядя на нас. Дед попросил выйти не в огороды, чтоб следов не оставлять (он не знал, что мы уже "наследили", подбираясь задами к его дому.) Так и сделали. Вышли, делая паузы, один за другим на улицу и почти бегом ринулись к околице. Уже за деревней собрались свернуть с дороги к лесу - навстречу две повозки. Бросились в сторону. Но - снег, хотя и не такой глубокий, как тогда под Онуфриевым. Нас сразу заметили. Послышались немецкие возгласы. Открыли стрельбу из винтовок, мы в ответ - из трех ППШ: довольно мощный залп. Одна лошадь, бедная, сразу завалилась. Немцы залегли, но лежа им нас не было видно. Я велел чередоваться: один отстреливается, двое бегут к лесу. Так довольно быстро мы добежали (если можно было назвать это бегом - снег по колено!) до леса... под свист пуль, которые явно шли много выше нас. Отдыхались. Я говорю: "Все! Задание на этот раз нам не выполнить. С утра пойдут по следам. Будем возвращаться". К утру были в штабе. Ребята пошли к себе, я - к начштаба докладывать. Он всегда лично расспрашивал, "что принесли". Полковник Рубцов, четыре шпалы, простой ремень, валенки, квадратная бородка, черноватый, интеллигентный, вежливый, с улыбчивыми глазами.

Доложил "как на духу". Он посмеялся: "Ну ничего! В другой раз восполните, надеюсь. Отдыхайте"... Мне с этим полковником еще пришлось встречаться в совсем другой обстановке. Запомнился он мне навсегда.

Однажды батальон выполнял "боевую задачу" в полном (оставшемся!) своем составе. Выступили к границе Демьянского котла, как я понял - к деревеньке, расположенной южнее "знаменитого" Залучья. Шли все время лесом. Иногда по просекам, чаще - напрямую. Мой взвод, как и следовало ожидать, определили в передовое охранение (помимо комбатовой "любви" ко мне, я хорошо "читал карту"). Оно бы ничего, но это одновременно значило, что мои двенадцать ребят должны были прокладывать тропу для остальных в

метровом рыхлом снегу. "Главные силы" батальона следовали шагах в двухстах за нами. Измотавшись, мы делали себе передышку. Подождав подхода батальона, двигались дальше... Самого комбата почему-то опять не было. Возглавлял тот же начштаба, все еще младший лейтенант. Каждый раз, когда батальон нас догонял, он "проверял", правильно ли я "веду", не сбились ли мы с курса на назначенный нам объект. Я его с картой в руках уверял, что идем куда надо. Но полной уверенности у меня не было: карты, в отличие от немецких, помеченных 1939 годом, у нас были старые, образца 1914 года. Тем не менее получилось "точка в точку" к моей радости.

Вышли на опушку - прямо в виду искомой деревни. Я послал связного к младшему лейтенанту предупредить, чтобы остановил батальон, а сам пришел ко мне. Ледяной вал с пулеметными вышками, из-за которого едва были видны дымящиеся трубы домов, отстоял от леса шагов на 20-25, то есть совсем рядом. Спрашиваю: какая у нас задача? Отвечает: разведка боем. Разведка боем - это имитация наступления, с ее помощью обнаруживается система огня противника и вообще прочность обороны на данном участке. Время было подходящее - смеркалось. Значит огневые точки легко засечь и подсчитать. Спрашиваю: как же мы это будем делать при всего двух "дегтярях", без минометов и вообще "без ничего", кроме автоматов и винтовок, даже нет противотанковых гранат (впрочем, против ледяных укреплений бесполезных). Начштаба прошептал мне секрет: будет поддержка с воздуха. И пошел назад развертывать батальон для атаки (так он сказал).

Это удалось сделать скрытно. Нас не обнаружили, хотя в этой морозной "вековой" тишине мы отчетливо слышали немецкий говор, выкрики, смех из-за ледяного вала и с вышек. Простояли около часа. Стемнело.

Вдруг послышался характерный шум моторов. Летели "У-2", легкие ночные бомбардировщики, на которых воевали обычно девушки. На нашем фронте их ласково называли "керосинками" (в других местах, судя по послевоенной литературе, иначе: "кукурузник", "этажерка", "тарахтелка", еще как-то). Это двухместный с открытыми кабинами биплан, со скоростью, вроде не больше 150 км/час, верткий, маневренный, способный сесть где попало и летать хоть между деревьями. Попытки "мессершмиттов" их сбивать,

как правило, не удавались, а для Me-109 иногда кончались гибелью. (Сам позже видел, как один такой истребитель "Me-109" - самый быстрый в истории винтовой авиации самолет со скоростью 650 км/час - коршуном спикировал на "У-2", а "керосинка" юркнула вплотную к ледяной поверхности Ловати между довольно крутых тут ее берегов. Вынырнула прямо из-под пулеметной очереди "мессера", а тот, не совладав с почти вертикальным пике, врезался в лед и разлетелся на мелкие кусочки.)

Так вот, тройке "У-2" и предназначалось обеспечить нам "поддержку с воздуха". Немцы их тоже слышали. И забегали, засуетились за ледяным валом. "Керосинки" появились из-за деревьев и, встреченные шквальным ружейно-пулеметным огнем, сбросили по бомбе. Тявкала и одна зенитка. В этот момент младший лейтенант дал ракету и мы, стреляя перед собой, утопая в снегу, двинулись к деревне. Не думаю, что кто-нибудь успел добежать до ледяного ограждения. Немцы открыли ураганный огонь, в том числе - фланкирующий, с крайних вышек. К счастью, большинство из нас было в маскхалатах: на снегу, да еще в темноте прицельно стрелять по нам было невозможно. Но плотность огня была такая, что мы сразу же поползли обратно. "У-2" удалились в противоположную сторону, развернулись, опять сбросили по бомбе и ушли совсем уже над нами. Младший лейтенант во вторую "атаку" нас не бросил: немцы продолжали бешено обстреливать все пространство между лесом и валом. Сколько мы оставили в снегу своих я не узнал и потом, но вроде немного, несколько человек.

Начштаба, видно, счел, что задание выполнено и дал команду отходить тем же путем. А мне - в арьергарде, последним со своими двенадцатью, которые все уцелели.

И вот тут, на обратном пути у меня случился приступ астмы. Ребята не понимали, что со мной произошло. Такая болезнь им была неведома. Батальон уже оторвался далеко. Я не мог передвигаться, пытался, но дикая одышка заставляла меня опять и опять садиться в снег. "Мои" топтались вокруг, я стесняясь своей одышки, сказал им, чтобы шли, мол, пройдет - догоню. Чугунов несколько раз возвращался, потом и он исчез. Я остался один в этом мрачном, спокойном, мощном лесу, где сквозь ветви едва можно было увидеть просветы неба.

И вспомнил я Александра Сергеевича - насчет "равнодушной природы", которая "красою вечною"... Никакого страха не было. И даже жалости к себе. Думал о "моих" из взвода. Понимал, что они измотаны до предела и едва ли в состоянии себя контролировать после того, как их "огрели" беспощадным огнем у ледяной стены. И все же... Ведь фактически бросили - и не своего товарища только, а командира. Вспомнил я и про материн кулек с пирогами, который исчез, стоило мне его в вагоне выпустить из рук... Это ведь по сути (хотя не они именно) те же парни. Где же они воспитывались? Какая же мораль у них? И кто виноват?

Я поднимался, проходил шагов пятнадцать-двадцать. Опять садился отдышаться. Вновь ковылял, к счастью, уже по протоптанной глубокой снежной колее.

Не знаю, сколько километров так, в одиночку, пришлось брести, задыхаясь и падая на колени. Когда я вышел из леса, увидел большой костер, их даже было несколько: батальон на привале. Подошел к своим, подвинулись, сел на корточки перед огнем. От теплого воздуха стало мне легче. Скоро одышка прекратилась (эта моя астма всякие штучки со мной проделывала и в мирное время). Никто ничего не спросил. Меня явно не хватились. Ярость моя куда-то ушла. Днем вернулись "в распоряжение" при штабе корпуса.

По-видимому, где-то в начале марта батальон перебросили в район Поддоря. Это большое село на реке Редье (она течет параллельно Ловати в сторону Старой Руссы). Оно в том месте было километрах в пятнадцати от Ловати, которая считалась на этом отрезке условной линией фронта, что совсем не значило, что все расположенные тут деревни были заняты немцами. Летом и осенью было так, но с появлением Демьянского котла территория стала как бы ничейной. Из большинства деревень немцы ушли.

На этот раз наш 203-й отдельный (и опять лыжный - выдали, хотя не на всех, новые лыжи) должен был встать гарнизоном в деревеньке в пяти километрах от Поддоря, фактически в "нейтральной" зоне, в ощутимом отрыве от каких бы то ни было других частей 1 гв.с.к. и 7-й гвардейской дивизии, к которой мы формально были приписаны еще с Москвы. Задача

была, как я потом понял, "присутствовать" на территории и гонять немцев, если они вознамерятся вновь здесь укрепиться.

На марше к новому нашему расположению имели место два эпизода, значимые, может быть, с точки зрения оценки моего тогдашнего состояния.

Солнечный день. Ведет нас адъютант-старший, о котором я уже говорил. Комбата как всегда нигде не видно. Я рядом, во главе колонны - вроде как тоже командир. То и дело залегает под пулеметным огнем с транспортников, отстреливаемся в надежде хоть раз "попасть": ведь так низко летят, совсем на уровне деревьев. Проходим напрочь сожженную деревеньку. Много замерзших трупов. Из сугробов торчат голые ноги. Это значит, наши сдирали с немцев их кованные яловые короткие сапоги. Младший лейтенант затевает разговор: мол, почему так плохо все у нас получается, - справедливая война, храбрый народ... Я нагло отвечаю: потому что этим храбрым народом в батальонах, дивизиях и, скорее всего, в армиях руководят примерно такие, как вы и, в особенности, как наш комбат. Он мне: много на себя берете, сержант, и вообще - почему вы такой злой, почему вы ставите себя выше всех?!... Ну вот, отвечаю, научная дискуссия и закончена: вы - лейтенант, я - сержант, вы - умный, я - дурак, на том и кончим. Шли мы, видно, не напрямую от Ловати, потому что дня нам не хватило до места. Ночевали на каком-то хуторе, не помню уже - с жителями или без. Лыжи оставили в большом, почему-то очень высоком сарае, прямо примыкавшем к жилым помещениям огромной избы. На утро обнаружили, что половина лыж, оставленных в этом сарае, исчезла. То ли деревенские ребята растащили, то ли партизаны присвоили. Днем мы с ними пересеклись на пути... Еще одно свидетельство, что "порядок" в батальоне оставался таким же, как во время боев за Онуфриево-Великое Село.

Пошли дальше, теперь уже почти все - пехом. Впереди те, у кого сохранились лыжи. Партизаны нас предупредили, что на таком-то перелеске, вдоль канавки дорога минирована немцами. Вышли к этой дороге, вытянулись вдоль нее. Снег выше колен. Идти - мученье. И вдруг впереди взрыв, крик. Один подорвался. Перевязали, положили на связанные лыжи - ему оторвало ногу по щиколотку. Спрашиваю адъютанта: "Что будем делать? Парень подорвался рядом с дорогой!" "А ты что предлагаешь?" - он мне на "ты". "Я предлагаю идти по дороге, не мучать людей. На ней по крайней мере

можно различить подозрительные места". "Ну вот вы (опять на "вы") и идите первым, доказывайте свою правоту"... Я вышел на дорогу и пошел вперед. На дистанции метров в десять за мной осторожно потянулись... но не все. Многие по-прежнему вышагивали по снегу. И уже совсем недалеко от деревни рядом с дорогой подорвался еще один, правда, легко - повредило лишь большой палец. Когда подтянулись все, я, встретив младшего лейтенанта (он шел в середине колонны, но по дороге!), молча, но нагло посмотрел ему в глаза. Он смолчал...

Деревня, где нам предстояло разместиться, была целая, богатая на вид, ухоженная.

С хозяйкой дома, в котором расположился мой взвод, состоялся у меня однажды разговор, тогда удививший.

- Как при немцах-то было? - спросил, не ожидая ничего, кроме стандартных благодарностей, что теперь мы здесь, свои.

- А что,- ответила,- неплохо было. Никого не тронули. Дома вон все целы. У меня стоял офицер и несколько солдат. Вежливые такие. Ничего без спросу не брали, никто не позволял себе ни покрикивать, ни грубить. Даже помогали по хозяйству - воду принести, починить чего-нибудь, довести куда. Один даже, такой рыжий, веселый, по-русски пытался научиться со мной разговаривать. А чтоб охальничать по женской части - ни-ни, у них это строго... И когда уходили, ничего не забрали, ничего не порушили.

Я отмолчался. Но, как видите, разговор в памяти засел прочно. Поразило и то, что она не побоялась мне об этом так просто, естественно рассказать. Наверное, в глубинах народной война воспринималась как стихийное бедствие или как ссора господ, распоряжающихся народами. И об оккупантах эта женщина (лет 35-ти) судила не по политике Гитлера, а по поведению живых людей, которые могли, но не обидели ничем ни ее, ни ее семью, ни ее деревню⁴. На другой день сам комбат собрал в большой просторной избе, где раньше была то ли читальня, то ли сельский клуб, весь

⁴ С таким же отношением к немцам я столкнулся несколько позже, в начале 1944 года, когда возвращался из Вышнего Волочка с курсов переподготовки офицерского состава в свою 1-ю Ударную армию. В районе станции Дно - нас было восемь офицеров - пришлось задержаться на сутки в небольшой деревеньке. Обошли несколько домов - не пускают: то тесно, то варить негде, то кто-то болен. В одной избе все-таки, хотя и со скандалом, разместились. Хозяйка смотрит волком. Со зла произнес громко: "Когда немцы-то были здесь, небось не очень капризничала!" Молодая баба с ненавистью в глазах отрезала: "А что! Такие же христиане крещеные, как мы, не люди что ли? И худого ничего не сделали. Не то, что власовцы или ваши (!) партизаны - обирали до последнего зернышка, а толку?!" Правда, оказалось, что в этой деревне стояли австрийцы.

"командный состав", включая командиров отделений, человек пятнадцать. Весь батальон-то к этому времени насчитывал много меньше сотни. Стал объяснять наше положение и задачи. Примерно то, что я сказал выше, плюс круглосуточная разведка - в разных направлениях от деревни, особенно - в район Поддоря, куда немцы наведываются часто и, бывает, задерживаются. На случай нападения "на гарнизон" - держаться, но лыжи - чтобы были в порядке.

При этой фразе черт, который теперь сидел во мне, не вылезая, и все время бил мне по нервам хвостом, опять дернул меня... "Ну да, говорю,- чтоб начальству было на чем драпать... Ведь лыж-то едва десяток остался!"

Гробовая тишина. Кое-кто хихикнул. Комбат побагровел: "Вы за это ответите, Черняев! Все свободны!"

Но, как ни странно, ничего не последовало за этим публичным оскорблением, о котором я и сам пожалел. Но мне было уже наплевать.

Объяснение, может быть, в том, что через пару дней к нам прибыл комиссар, до этого его у нас почему-то в батальоне не было. С одной шпалой в петлице (побольше, чем у комбата), белорусс с легко узнаваемым национальным акцентом в языке, Любутин. Хорошо сложенный, рыжеватый, с правильным, даже красивым, но мрачным лицом. Не видел, чтобы он хоть раз улыбнулся. Возможно ему обо мне, во всяком случае, о том моем "выступлении", доложили. Встречаясь, присматривался, но не разговаривал. Через неделю вызвал, усадил напротив.

- Сержант, почему вы так пессимистически оцениваете положение? Вы что, не верите в нашу победу?

- Товарищ комиссар, можно задать вопрос? - Да. - Откуда Вы знаете о моих настроениях? И тут он меня ошеломил и покорило. - Очень просто. У вас тут в батальоне завелась одна сволочь. Письма читает, в том числе и ваши, которые вы шлете в Москву, в треугольничках. Этот... как его..., - назвал фамилию политбойца (была такая неофициальная должность: редкие среди нас члены партии, с их согласия или по собственной инициативе, назначались агитаторами, давали солдатам читать армейские газетки - "боевые листки", "разъясняли" положение на фронтах и т.п.). Этот был косноязычный тихоня, откуда-то с Поволжья, из мелких конторщиков.

Держался сторонкой. Его не любили, чувствовали, что стукач. Ко мне он ластился, но натыкался на нескрываемую неприязнь.

- Так вот, - продолжал комиссар, - он ко мне первый явился и понес всех подряд, показал даже подчеркнутые фразы из писем. Я вас понимаю, но писать так в тыл не следует. А этого негодяя я уберу.

И действительно, через несколько дней он его куда-то откомандировал, говорили на "переподготовку". Недели через две и самого Любутина забрали от нас⁵.

"Работа" в этом гарнизоне состояла в том, чтобы с перерывами в двое суток ходить в разведку - радиально на расстояния примерно в 10-12 км от "штаба". На этот раз ходили парами. Я - то с Чугуновым, то с Малофеевым. Два эпизода из наших с ними вылазок я опишу. Оба связаны с Поддорьем. Уходили под вечер, возвращались к ночи следующего дня. На этот раз, по бедности или разгильдяйству хоззвода, с собой пайка совсем не давали: мол, прокормитесь у крестьян. Поэтому, естественно, первая задача состояла в том, чтобы найти такой дом, где готовы принять и накормить. "Техника" - точно как в "Василии Теркине": заходишь - и к хозяйке - "не найдется ли попить?" Иногда, действительно, этим и ограничивалось. Приходилось искать более "догадливых" хозяев.

Так вот. Подошли мы однажды в сумерках к Поддорью. Осмотрелись с пригорка. Вроде ничего подозрительного. Наметили дом попримичнее. Постучали. Опять же старик и молодуха ("классический", видно, вариант!). Спрашиваю: "Немцы были?" "Да, каждый день почти заходят, десять-пятнадцать человек как обязательно", - ответил старик. "А партизаны?" "Эти тоже навещают, спасу от них нет, обирают так, что не знаем, дотянем ли до лета... Так что вы уж не взывайте - чем Бог послал. Вы первые - из Красной Армии-то!"

Поели. Малофеев говорит: "Старшой, давай поспим. Все равно в темноте ничего не увидим, немцы ночью не ходят"... "Случается, ходят", - прервал его старик. Я, однако, согласился. Улеглись на полу, не снимая шинелей, шапку на магазин автомата - довольно удобная подушка. Прошло

⁵ С комиссаром Любутиным, суровым, благородным, храбрым человеком, я вновь встретился в мае после окончательного разгрома 203-го лыжного и пробыл под его началом и "покровительством" до страшных боев осенью 1942 года. Потом его перевели партторгом полка, кажется, в той же самой 7-й гвардейской дивизии, уже после того, как комиссаров переименовали в замполитов. Позже я узнал, что его убило наповал осколком в голову, когда он обходил окопы перед наступлением.

немного времени, старик трогает меня за плечо. "Послушай, как тебя.., нарветесь вы так, и себя, и нас погубите. Шли бы уж по своим делам". Я внял. Стал поднимать Малофеева. Ни в какую, хоть стреляй. Старик тоже начал его тормозить - ворочается, молчит, не поднимается. Выволочь его удалось лишь к рассвету (уже март был). Осторожно пошли по кромке оврага, порядок домов здесь спускался к реке. Сумеречное утро. Ни огонька в окнах. И вдруг винтовочный выстрел, свистнула пуля. Оглядываюсь, на крыльце дома, метрах в пятидесяти, стоит наш солдат и, перезарядив, вновь целится в нас. До сих пор не могу объяснить свою мгновенную реакцию: вместо того, чтобы упасть на землю и открыть огонь по нему, я поднимаю автомат над головой и кричу: "Ты что, о...л?!" Он опускает карабин, мы спускаемся к дому. Солдат подозрительно оглядывает наши необычные штаны. Подхожу вплотную. Еще раз на всякий случай крою его самыми убедительными для русского человека терминами. Паренек немножко перепуган своим выстрелом без предупреждения. Из дома выбежали еще трое. "Кто такие?" - кричит один. Я в ответ: "Кто у вас старший? Ведите к нему!" Вошли в дом. За столом - старший лейтенант в гимнастерке, поверх - меховая безрукавка. Козыряю, представляюсь, уже почему-то совсем уверенный, что - свои. Просит предъявить документы. Выкладываем красноармейские книжки. Смеется: "А мы и не знали, что вы здесь тоже работаете". Оказалось, дальняя разведка аж! 34-й армии, которая держала фронт с востока Демьянского котла. Прощаясь, я все-таки не удержался: "А если б я в ответ на выстрел вашего часового, полоснул бы из двух автоматов?!" "Ну ведь не полоснул же!" - возразил старший лейтенант...

Во второй раз столкнулись в этом же Поддорье уже не со своими, а с немцами. На этот раз я был с Чугуновым. Этот крестьянский сын был более послушный и уважал меня преданно.

Подойдя к Поддорью с того же пригорка, где произошла стычка со своими, осмотрели село. Смеркалось. В избах появлялся тусклый свет. Выбрали дом, не тот, что в прошлый раз, а поближе к околице. Старуха, увидев нас в окно, замахала руками, но все-таки вышла в сени, приоткрыла дверь. "Что вы, что вы, уходите!"... Быстро удалились и залегли на том же пригорке: задача-то ведь - наблюдать за немцами!

Не знаю уж, увидел ли нас кто, когда мы спускались к дому старухи, или каким-то другим способом было обнаружено наше присутствие в селе, но минут через двадцать мы заметили двух немцев, крадущихся вдоль главного порядка домов с винтовками на изготовку. Прямо на нас по пригорку, но еще не видя нас, шли еще двое. И еще двое вышли на дорогу, ведущую к той деревне, где стоял наш батальон и откуда мы пришли: так что дорогу к отходу назад нам отрезали. Выход был один. На противоположной от нас стороне деревни, прямо за рекой, начинался лес. Спасение - там. Но для этого надо пересечь село. Уже было достаточно темно. И как только те двое, что шли по самой деревенской улице, миновали нас и зашли в очередную избу, мы, уже не таясь, сделали бросок - все решали секунды. Но нас сразу же заметили те, что шли по пригорку, и открыли огонь.

Мы успели заскочить за дом. Чугунов лежа, я стоя выпустили несколько коротких очередей по тем двоим, которые первые нас обнаружили и залегли на пригорке. Но и от домов появились немцы, в нашу сторону пошла ракета, потом другая. Мертвенный свет навис над нами. Задерживаться было нельзя: теперь уже они знали, где мы, и наверняка начали бы обкладывать нас спереди и сзади. Бросились в сугробы на склоне к другой речке, протекавшей между деревней и опушкой леса. И уже не оглядываясь, проваливаясь едва ли не по пояс, зашагали (как ни старались бежать!) к лесу. По нам нещадно палили, но неприцельно, было уже темно. А ракеты взлетали над домами: немцы полагали, что мы пробираемся по задам, за плетнями огородов.

Отдышавшись за деревьями, двинулись напрямую от Поддоря, то есть в противоположную от "базы" сторону. Километра через два свернули вправо и далеко, уже вне видимости села обогнули его. К утру явились в батальон.

Младший лейтенант, начальник штаба, сдержанно похвалил: хорошо, что постреляли, - немцы, мол, должны знать, что мы тут рядом и если они попытаются осесть в Поддорье, покоя им не будет.

Из того, что еще осталось в памяти от пребывания в этом месте в качестве то ли передовой разведки, то ли стационарного боевого охранения, стоит, может, упомянуть "по контрасту" посиделки с деревенскими девушками. Те, кто не был на задании, собирались, иногда человек по 10-15, в большой избе. Не помню уж, чем она была до нас. Но - не жилая. Может,

библиотека или клуб, потому что рядом с огромной, просторной светелкой была небольшая комната, вся заваленная книжками популярно-народного предназначения: Пушкин, Некрасов, Горький, детские с рисунками, школьные учебники...

Посиделки проходили в светелке. По стенам расставлены лавки. Рассаживались, на одной стороне - солдаты, на другой - девицы, думаю так, годами от четырнадцати до восемнадцати. Все белобрысые, худенькие, высокие. И поразительно: не было ни ядреных шуток, ни подначек, ни грубого заигрывания, казалось бы естественных в такой ситуации. Девушки, помолчав с минуту, начинали петь. Одна брэнчала на балалайке - аккомпанировала. Каждый раз, когда я вспоминаю об этом, раскисаю от умиления. А тогда еле сдерживался, чтобы не засмеяться или не заплакать. Это был одноголосный, нудный, заунывный мотив, с каким-то, едва различимым, частушечным содержанием. Он был печален, надрывал душу. В то же время столь необычен для москвича, знавшего народные мелодии по радио и из дачного своего детства, настолько нелеп в своей серьезности и истовости, с какими они его выводили, переходя иногда на протяжный тонкий визг, что невольная улыбка вот-вот готова была сорваться в смех. Но никто из солдат (северян среди моих не было) ни разу не позволил себе такого. Эти несчастные девчонки, живущие по существу на передовой, в деревушке, которую занимали то мы, то немцы, вызывали искреннюю жалость и трепетное уважение. Во всяком случае, мне так показалось.

Когда мы в начале апреля уходили из деревни, эти девчонки и бабы все вышли на улицу. Остатний наш батальон выстроился и двинулся откуда пришел - за Ловать. А женщины стояли и смотрели на нас, молча, никто даже не взмахнул рукой. Страшно было оглянуться.

В середине апреля 1942 года батальон перебросили в район той самой деревни Бяково, куда зимой комбат посылал меня из Рамушево в странную разведку. На этом участке было самое короткое расстояние между краем Демьянского котла и основными силами немцев под Старой Руссой. Видно, командованию стало известно, что немцы готовятся к весне прорвать окружение: ледяные "редуты" растают и подкреплять оборону окруженной группировки только воздушным путем будет рискованно.

Батальон наш весь, за исключением командования, оставался в валенках. Снег, правда в тех местах еще лежал. Но днем, под солнцем, уже начинал угрожающе таять. Нас вывели на большую лесную прогалину, где мы должны были занять оборону. Место болотистое. Кочки обнажились, а между ними - вода чуть ли не по колению, замерзавшая ночью. Валенки, портянки, штаны и шинели, промокшие за день, ночью превращались на нас в ледяные панцири. Мытарство невероятное. Спать невозможно. К тому же хозвзвод опять исчез и питания - не то что горячего - вообще никакого не оказалось. Мои из взвода где-то раздобыли старую заржавленную железную бочку. Затащили ее в шалаш (ни о каких окопах в болоте и речи не могло быть!). Превратили в печку. Бочка быстро раскалялась до красна и сидеть в шалаше становилось невозможно. Но стоило перестать подбрасывать хворосту - она за несколько минут охлаждалась.

Примерно через сутки случилось потрясшее меня происшествие. Днем я пытался как-то укрепить свой участок на случай появления немцев. Предполагалось, что они могут выйти на нас с противоположной стороны лесной прогалины. Попробовал даже пристрелку из появившегося откуда-то у нас немецкого 50 миллиметрового миномета. (Назывался - "лягушка", этакий - на платформочке, наш аналогичный 47 миллиметровый - на сошках.)

На ночь выслал дозор - трех человек на ту самую противоположную опушку, в сотне метрах от нас.

Утром дозор должен был вернуться. Но уже солнце высоко, а ребят все нет. С двумя сопровождающими пошел искать. И застали страшную картину. В старой воронке от бомбы, где они с вечера расположились, густо застелив дно еловыми ветками, лежали вразброс все трое, растерзанные штыками, с обезображенными лицами. Не надо быть д'Артаньяном, чтобы понять, что тут произошло: заснули - с голодухи, от холода, от слабости. И немецкая разведка, чтобы выстрелами себя не обнаружить, прикончила их вот таким зверским способом. Ни винтовок, ни автомата при них, конечно, не было.

Я буквально остолбенел от ярости и ужаса. Когда мы их приволокли в расположение, сами измазавшись в крови, - на всех, кто приходил посмотреть "похороны", вид погибших произвел жуткое впечатление: будто воочию увидели свою собственную ближайшую судьбу.

А со мной произошло что-то странное. К середине дня меня стала бить лихорадка, какой я никогда до того не испытывал. Сначала думал, что просто мерзну от мокрой одежды. Но скоро понял, что у меня жар, да еще какой. Позвали фельдшера. Тот определил на глазок, что действительно высокая температура, но помочь не смог: лекарств у него не было. Я забрался в шалаш. Солдаты грели печку. Я забывался, меня будили и вытаскивали, как только она опасно раскалялась. Потом опять я вползал ближе к бочке. Так повторялось всю ночь... А к утру все прошло, будто и не было ни жара, ни такой трясучки (впервые в жизни испытал буквально, что значит - зуб на зуб не попадает, когда унять челюсти невозможно). Видимо, это было что-то вроде нервного потрясения.

Прошел еще один день. Опять же без еды, в сырости и холоде и со мхом в самокрутках вместо махорки. Вечером приказ комбата - перемещаться на другую позицию. Как я понял, ближе к противнику, потому что, вытянувшись в длинную колонну, двинулись в том направлении, где накануне произошла трагедия с дозором. Вскоре вышли на лесную дорогу. Совсем стемнело. Прибежал связной: комвзводов - к комбату, который, как всегда, сзади. Колонна остановилась. Собрались возле комбата. Он - жалкий, растерянный: опасно идем, - говорит, - того и гляди нарвемся на засаду, по карте ничего в темном лесу не определишь, не заблудиться бы... Что-то в этом роде мямлил.

И опять во мне "сработал" бесенок презрения к этому негодяю. Говорю: " Но ведь приказ-то все-равно выполнять придется, не можем же мы так вот посреди дороги стоять до утра".

- А что ты предлагаешь? - но не зло, а жалостно... - Идти предлагаю. - Куда? - Наверно, как-то обозначено место, где мы должны занять позиции, чем-то оно отличается? - Отличается. Там развилка дороги и недалеко до опушки. - Хорошо. Я пойду вперед. Дайте мне трех разведчиков. Читатель подумает, что опять хвастаюсь. Самому неловко печатно об этом вспоминать. Но было именно так. Во мне вновь работал "мотор" отчаяния, безнадежности и презрения к этому человеку, жалкому и преступному в своей бездеятельности и бездарности в такой момент. Видно, им руководило одно, хотя раздвоенное трусливое чувство: как сделать так, чтобы не

погибнуть самому от немцев, но и как избежать расстрела, если задачу не выполнит.

Комбат согласился. Дал мне троих. Мы миновали колонну - солдаты уже завалились на ветки ельника - и пошли по дороге в темноту.

Молчали, напряжение понятное. Было жутковато. Особенно под свежим впечатлением от гибели дозора, которая произошла где-то тут, совсем рядом. Того и гляди из засады полоснут очередью - и хана! Но уж раз напросились сами - делать нечего. Шли ходко. Километра через полтора действительно оказалась развилка. Постояли. Прошли вправо - продолжался лес. Вернулись, прошли влево, очень скоро проглянула белизна - открытое пространство. Вышли из леса, постояли. Прислушались - все тихо. Послал двоих назад к комбату. Остались вдвоем. Примерно через час подошел все тот же младший лейтенант, начштаба с группой. Подтянулась и колонна.

Началось распределение людей вокруг перекрестка. Видимо, приказ был: батальону прикрыть именно это место на направлении Бяково-Рамушево.

Здесь мы днем и встретили первую, скорее всего, пробную на данном участке волну немецкого прорыва.

Позиция была "слепая". В лесу с густым хвойным подлеском немцев можно было увидеть, лишь когда они подойдут совсем вплотную. Определяли "мишени по звуку", по вспышкам близких выстрелов. Укрыться от пуль можно было только за стволами деревьев, стоя. Но тогда ты подставляешься под осколки мин и снарядов. Все так и случилось.

Примерно в полдень немец открыл по нам (конечно, уже знал, что мы здесь!) массированный минометный огонь. Отчетливо выделялись редкие взрывы гаубичных снарядов. Наши стояли разреженно. То и дело стали слышны вскрики и протяжные стоны раненых. Вдруг я услышал буквально пороссячий визг. Выбежал из-за своего дерева в кустах на дорогу и увидел, как за ноги и за руки через перекресток несут комбата. (Верьте - не верьте, но ранен он был, как потом мне сказали, самым подходящим ему образом - в ягодицу, поверхностно!) С этого момента его уже никто из оставшихся никогда не видел. Может, где-то потом он свое "довоевывал" в каком-то другом качестве...

После очередного минометного налета немцы начали прочесывать лес длинными пулеметными очередями. Пули выли, особенно рикошетившие от деревьев. Потом все замолкло. И через несколько минут подлесок и кусты перед нами разверзлись очередями из автоматов и винтовок. Мы также вслепую ответили очередями из "дегтярей" и ППШ. Через минуту мой первый диск был пуст. По нам продолжали бить, но мы уже поняли, что немцы на сближение не идут, хотя их выкрики были слышны вполне отчетливо.

Через некоторое время на нас вновь обрушился минометный шквал. Значит, небольшое затишье им нужно было, чтобы чуть-чуть оттянуть своих. Мины рвались и в верхушках деревьев, не достигая земли. Свист мин и грохот разрывов - оглушающий. Уже невозможно было расслышать, что тебе кричал "сосед" метрах в десяти от тебя. И опять вскрики и протяжные вопли раненых. Как только прекратился налет, услышали команду "по цепи": "Отходим!" Бегом стянулись к перекрестку на ту же дорогу, по которой пришли ночью. Бегом, сопровождаемые веерами пулеметных очередей, ринулись скопом назад. Сколько мы оставили своих в этом месте, уже никто посчитать не мог. Младшего лейтенанта среди нас я уже не увидел, хотя вроде бы от него должна была исходить команда на отход после "эвакуации" комбата⁶. Те, кто, не успели выбежать на дорогу, отходили вразброс, как попало, прямо по чаще.

К вечеру собрались на старых своих позициях. А утром стали пробираться к северу, в сторону основной дороги, ведущей от Бяково к Рамушево. Светило яркое солнце. В валенках мы утопали в провалах между кочками. Мы уже не представляли собой цельного подразделения, - просто группа спасшихся "своих", думаю человек 40-50. Старшим среди нас оказался замполит, бесцветный человек, какой-то всегда посторонний в батальоне. Он выглядел совсем растерявшимся - после этого жуткого "слепого" боя и исчезновения комбата и начштаба. Останавливался, пропускал нас мимо себя и все повторял: "Ничего, ребята, ничего, вот соединимся с бригадой, патронов добавят, может поедим... Немного еще!..."

⁶ Позже я узнал, что он прострелил себе руку и бросил батальон, но в медсанбате его разоблачили как самострела и, наверное, расстреляли.

Действительно, пройдя несколько километров, наткнулись на своих. Это была 52-я отдельная стрелковая бригада. От солдат тут же узнали, что сами они давно ее прозвали "отдельно-голодающей". Позлорадствовало: значит, не только мы такие!... Но и обрадовались - все-таки не одни теперь.

Бригаду немцы тоже за день потеснили километров на пять. Как и нам, им тоже удалось оторваться от противника (он просто не торопился - готовил новый, более точный удар).

Наступила ночь. 5-6 градусов ниже нуля. Все обледенело на людях и внутри них. Стали разжигать костры. И вот тут у одного из них, самого большого, я увидел командира 52-й "отдельно-голодающей" бригады. Это был невысокий худощавый подполковник, уже в фуражке (мы все - еще в ушанках), в меховой безрукавке поверх гимнастерки. Он бежал к костру, прыгая по кочкам и извергал на нас изощренный мат. Бросился затаптывать огонь своими хромовыми сапогами. И не переставал кричать: "Вы что?! Таковую вашу мать! Совсем спятили?! Немец рядом, вот здесь - протягивает руку - вот за этими деревьями! Вы что - хотите, чтоб всех вас одним х... накрыло?! Таковую вашу мать... Тушить немедленно, всем - тушить!" И бросился к другому костру.

Домерзли мы до рассвета. Само собой получилось, что теперь мы, 203-й отдельный (вернее, то, что от него осталось), попали в распоряжение "комбрига-52". Стали растекаться группами по три-пять человек по кустам в линию по обе стороны идущей от Бяково дороги. Еще осенью, видно, по ней была проложена гать⁷. Но после морозов и в наступившую распутицу она вся была покорежена и фактически плавала, а не лежала на грунте.

Переходя гать, я заметил сзади, метрах в двадцати две "тридцатичетверки". Танкисты, увидев нас, закричали, машут руками, зовут. Подошли. "Братва, выручайте! Снарядов уже нет: вчера отстрелялись куда попало по кустам. Передвигаться не можем: попробовали - чуть было не утопили оба танка. Стоим вот на этой е... гиблой дороге. Ни туда, ни сюда. Голыми руками нас тут возьмут. В пулеметах ничего почти не осталось. Вот автомат и два пистолета. Все! Может, отобьемся, если вместе?!"

⁷ Гать на нашем фронте была двух видов. Один, более совершенный, прокладывали саперы в основном для автомашин: тяжелые бревна поперек в двух-трех метрах друг от друга, а на них вдоль прибивались широкие доски, по которым, как по рельсам, могли двигаться машины. Другой тип гати, более примитивный, сооружала пехота: это тонкие стволы деревьев, положенные плотно друг к другу поперек дороги и крепленные по краям слегами. Телега по ним шла, стуча как по шпалам.

Дело было ясное: танков не спасти и даже подорвать их нечем, а ловушкой они для всех нас вместе с танкистами могут стать хорошей. Но не бросать же ребят! К танкистам - особое почтение, опять же - знаменитые уже "Т-34".

Как только начался минометный налет, танкисты залезли в люки, мы расположились под гусеницами. Повторилось то, что мы уже отведали в первый день: после минометов в дело вступили пулеметы, а вскоре среди кустов замелькали и фигурки немцев, стрелявших "от пуза". Рванули по ним из автоматов. Над нами заработали танковые пулеметы.

После паузы последовал очередной минометный шквал - по танкам, довольно точный: мины ложились совсем рядом, но, плюхаясь в болото, они выбрасывали осколки вверх. Это нас спасало. По этой второй атаке немцев пулемет стрелял только уже из одного нашего танка. Но опять отбились. Однако стрельба становилась слышна уже и с боков от нас и даже, казалось, сзади. Танкисты вылезли к нам под гусеницы. Один плакал, размазывая грязной ладонью сопли и слезы. Матерился, клял своих начальников, которые заткнули "такие машины!" на явную гибель.

Я сказал: "Ребята, еще 5-10 минут и после очередной атаки мы - как мишень на стрельбище. Бой-то, слышите, уходит вон куда!"

Первыми из-под танка, где мы, лыжники, лежали втроем, полезли два танкиста. Один тут же был срезан из кустов, другой успел скатиться по другую сторону гати.

Мои двое, переждав, вылезли - и сразу за гать - к танкисту, автоматные очереди по ним опоздали. Я выкатился из-под танка последним. Оказалось, что один из моих лыжников ранен в спину. За кустами раздели его. Входное отверстие было между лопаток, но крови почему-то почти не было. Идти он уже не мог, потащили. Метров через пятьдесят наткнулись на другую нашу группу лыжников, среди них тот замполит. Он очень мне обрадовался. Но я сразу же заметил, что человек "не в себе", что-то бормочет, глаза бессмысленные. В портупеях поверх шинели, а пистолет - в кобуре.

Не успел я с ним разобраться, как началась очередная автоматная атака немцев. Танкист и мой боец из лыжного уже исчезли вместе с раненым. Замполит стоит за деревом и кричит мне: "Стреляй, стреляй же! Вон туда стреляй!" Я полоснул два раза по кустам - немцы ведь тоже стреляли

вслепую - на психику давили! Но остановился: патронов оставалось, наверное, меньше полдиска.

Стали отходить. Вытравилось из памяти, как мы к сумеркам, отстреливаясь и маневрируя по кустам и кочкам, добрались до деревни Омычкино - это на правом берегу Ловати, почти напротив села Рамушево. Помню только, что несколько раз пересекали гать то в ту, то в другую сторону. И в один из таких бросков наткнулись на лежащего прямо на гати того моего раненого лыжника. Он был при смерти, а рядом с ним лежал убитый военфельдшер нашего батальона (запомнил фамилию - Фельдман) со своей неразлучной СВТ. Танкист и лыжник "объяснялись" поодаль с двумя лейтенантами, судя по петлицам - из НКВД. Подошли к ним. "Вот, старшой, - обращается ко мне танкист, - не пускают, документ требуют - почему отходим, раненого не дают нести". Мой замполит стоит молчит, "отключенный" уже совсем. Говорю: "Товарищ лейтенант! Это мои бойцы. У нас почти не осталось патронов. Раненый долго не выдержит, его надо нести в тыл. Пусть они его понесут, а мы с вами здесь давайте останемся и будем "стоять на смерть", как вы требуете от них. Только вот патрончиков бы к автомату!"

Лейтенанты напустили на себя строгость. Есть, мол, приказ - никого не пропускать. Я заметил: непохоже, чтобы мы были первые, скорее наоборот, а потом - на гать редко кто выходит, отходят лесом - там безопаснее. Дело ваше, раз приказ - я готов остаться с вами. Но раненого надо нести, двое не справятся без носилок, и старшего лейтенанта нельзя здесь оставлять - у него явно что-то "соскочило".

Стоим, смотрим друг на друга. Молчим. Оборачиваюсь к танкисту и своему солдату, говорю, указывая на раненого: "Несите". Фельдшерскую винтовку поднял и передал одному из лейтенантов: с вашими ТТ "на смерть" долго не простоишь.

Мнутся, никого вокруг, выстрелы, хотя и не очень густые, где-то уже у нас в тылу.

Два лейтенанта в фуражках с малиновым околышем, затянутые, чистые, видно, только сегодня из Рамушево, из большого штаба. И я - "старшой", грязный, мокрый, в мятой рваной шинели, в валенках и даже без треугольников в петлице.

"Пошли, - говорю, - товарищи лейтенанты, раненого поможем тащить". И поплелись все вслед за удалявшимися "носильщиками".

Вечерело, когда добрались до полусгоревшего еще осенью Омычкино. Здесь, судя по всему, скопились все, кто остался цел - из 52-й бригады, нашего 203-го и еще, наверное, каких-то частей. Не помню, куда делись два лейтенанта, куда пропал мой замполит, куда дели раненого и куда делись те, кто его нес.

Несколько полуразрушенных домов были забиты спящими вповалку солдатами. Протиснуться удалось лишь в третий и хотел уже выбраться - от духоты и храпа. Тут меня окликнули. Узнал Чугунова, того самого из моего взвода деревенского парня, который еще с эшелона ко мне "прилип". Зовет: иди, пристроимся как-нибудь. Пролез к нему через тела, втиснулся рядом. Он тут же захрапел. Я не мог заснуть и все думал - не уйти ли, уж больно тошно в этой куче потерянных людей - в прямом, военном, и в переносном смысле, человеческом. Но к вечеру стало опять подмерзать. И я остался.

Утром повскакали от близких разрывов мин. Бросились наружу. Кто где попало залег, изготовился, кто просто бросился бежать. Мы с Чугуновым устроились за сваленными бревнами недалеко от сруба, где провели ночь: он оказался поблизости от бывшей деревенской околицы.

Когда немцы появились, стреляя из ближних кустов, их встретили редким беспорядочным огнем. У Чугунова была винтовка. Спрашиваю: "Сколько у тебя патронов-то?" В ответ он похлопал по магазину: мол, только тут и больше ничего (то есть пять штук). У меня на поясе два диска пустые еще со вчерашнего дня. Вынул диск из автомата, открыл крышку - в барабане штук пятнадцать. Ну, думаю, все - отвоевались. Увидели немцев, перебегающих по берегу речушки, которая в этом месте впадала в Ловать. Через нее - мост совсем новый, тесовый. "Чугунов, - говорю, - туда, быстро, отрежут!" Бросились во весь рост к мосту. По нам - пулемет. Залегли, поползли за бревнами - скрепами моста, образовавшими что-то вроде парапета. Пули срывают щепки над нашими спинами. Выползли в земляное углубление при выходе моста на дорогу. Залегли. Немцы уже на той его стороне, тоже залегли: мы по ним пощелкали оставшимися патронами. И в этот момент нас спасает, видно, шальной немецкий снаряд (а может и наш!) - рванул прямо посередине моста и обрушил всю середку в речку.

Отползли к кустам. Видели, как немцы, обойдя Омычкино, долбят из пулеметов по Рамушеву через Ловать.

На другой день, в деревне Лука, где стоял штаб 1 гв.с.к. мы встретили десятка два людей из 52-й бригады, прорвавшихся, наверное, еще до нас в эту сторону от Омычкино. Большинство же, как потом оказалось, отошло на север - вверх вдоль Ловати - в расположение 11-й армии.

Таким образом, за три дня немцы прорвали окружение между Бяково и Рамушево и образовали коридор длиной 10-12 км и шириной - 3-5. Наступали они не только изнутри Демьянского котла, но и со стороны Старой Руссы в направлении того же Рамушева, но более широким фронтом. В результате значительная часть левого берега Ловати, включая Поддорье, о котором я рассказывал, и ту деревню, где девки пели нам заунывные песни, вновь оказалась в их руках.

Но возвращаюсь к "своей" войне. Оторвались мы с Чугуновым от немцев. Они и не собирались (как выяснилось потом) переходить речушку. По тому ее берегу организовали оборону южной части образовавшегося коридора. Рассуждаем - что делать? Говорю: в Луке стоял штаб корпуса, пойдем туда. Пошли, местонахождение деревни было известно еще с зимы, когда 203-й занимался разведкой. Вспомнили, что двое суток ничего не ели. Чугунов говорит: "А вот у меня в сумке мясо, разжился вчера от убитой лошади". Достает огромный кус, килограмма на два. Уселись в нескошенной с прошлого года ржи. Яркое предмайское солнце над нами. Он развел костер, приладил мясо в котелке. Набросились, забыв чем может кончиться такой обед! Потом меня неделю "несло"...

К Луке, в которой сохранилось несколько целых домов, мы подошли днем. Штаб охранялся. Но поразительно (хотя позже я сообразил), что на всем нашем пути от места последнего боя до штаба корпуса мы не встретили никаких наших войск, вообще никого, пока не оказались у околицы. Тут подошел к нам лейтенант, спросил: "Откуда? От Рамушева?" На мой ответ он предложил пойти с ним в штаб. У крыльца попросил подождать возле часового. Вернулся и показал рукой, чтоб я вошел. На пороге шепнул: "Начштаба корпуса".

Это был тот же полковник Рубцов, о котором я уже писал. Он встал из-за стола и так мы оба простояли, пока он подробно меня расспрашивал, что

"там" произошло. Я уже знал его манеру: он интересовался и тем, что ему явно должно было быть известно. Я докладывал, не стесняясь в выражениях относительно командования 203-го лыжного.

- Значит, что же... Сегодня утром уже никакого организованного сопротивления не было, никто не командовал и все подразделения перемешались?

- Не утром, а уже и вчера этого не было. Помолчал, отвернувшись к окну. - Ладно. Можете идти.

- Куда идти, товарищ полковник? - осмелился я.

- Адъютант скажет. Тот лейтенант, который привел меня к нему, и был адъютантом. Лейтенант сказал, чтобы я со своим бойцом шли в деревню такую-то километрах в семи от штаба вдоль берега Ловати. Выдал нам пайки. Там, мол, будет сборный пункт, потом скажут, что дальше вам делать.

Пошли. По дороге произошла запомнившаяся - как сейчас перед глазами - встреча. На обочине дороги, спустив ноги в глубокую колею сидел человек и перематывал портянку. В телогрейке и шапке, рядом винтовка. Прошли мимо. Вдруг он окликает:

- Эй, ты не с истфака ли?

Я оглянулся, подошел. Всматриваюсь - лицо узнаваемое. С четвертого или пятого курса, заметно старше меня. Знакомы не были.

- Как война-то? - спрашивает.

- Да вот, повоевали под Рамушевым, еле ноги унесли...

- Да-а-а, - потянул он, - вот тебе и истмат-диамат, вот тебе "ни пяди земли", вот тебе и торжество справедливого дела! Все, чему учили, - к е... матери.

Я мялся. И опровергать не мог, и поддакивать почему-то не хотелось. Какими-то словами еще перекинулись и я побрел догонять Чугунова. Часто вспоминаю этот разговор. Много за ним стоит. А для меня он и тогда, и каждый раз потом - предмет "самоанализа".

Я в общем-то натура истерическая, не очень уравновешенная. В экстремальных ситуациях в душе часто бушевала настоящая паника. Но именно в эти моменты она никогда не вырывалась наружу. Не удержать ее внутри себя я считал унижением своего достоинства, потерей мужской чести. Поэтому и тот истфаковец на дороге вызвал во мне сначала инстинктивное, а

потом осознанное отвращение... Тем более, что не он, а я всего несколько часов назад был в бою, который по своей безалаберности, хаотичности, бездарности и безответственности не вписывался, казалось, ни в какие мыслимые рамки военной тактики. Мне ли было не проклинать все, что сделало возможным такие боевые действия нашей армии! Хотя насчет "диамата и истмата" он был прав!

В этой деревне, куда мы с Чугуновым пришли под вечер, скопилось человек пятьдесят из разных частей. Из-под Рамушево - единицы. Доложившись начальству, мы завалились в баньку, топленную, судя по влажности, не так давно, и заснули, сняв только шинели. Проснулся я, наверно, к полудню следующего дня, весь мокрый от банной сырости. Проболтались в этой деревеньке с неделю и отправлены были - часть из нас, человек двадцать - обратно в Луку.

Там я был вызван к двум командирам - старшему лейтенанту северокавказской национальности и ... комиссару Любутину. Меня назначили командиром взвода автоматчиков отдельного батальона, подчиненного непосредственно штабу 1 гв.с.к. Помнится, вышеупомянутый командир батальона с сильным насмешливым кавказским акцентом, под добрые улыбки Любутина, дотошно экзаменовал меня "по тактике боя пехоты в составе взвода и роты". И пока я не догадался, что все надо делать преимущественно по-пластунски, он от меня не отстал. Тут же было послано представление на присвоение мне звания младшего лейтенанта, а недели через три, в конце мая, еще до выхода на передовую, я был принят кандидатом в члены ВКП(б). Процедуру - как это происходило - забыл.

И в том и в другом случае (лейтенанство и членство), видно, зачли, что за полгода я достаточно побывал в разных передрягах и знаю, что почем. Хотя, судя по письму, которое я отправил Феликсу Зигелю, буквально через неделю после дикого разгрома 203-го лыжного под Бяково-Рамушево, я, как "общественное животное" (по Аристотелю) был неисправим. Письмо это, помеченное 29 апреля 1942 года, принесла мне его дочь, прекрасная Татьяна, уже после смерти Феликса, пять лет назад. Вот отрывки:

"Дорогой Феликс! Я, откровенно, не ожидал от тебя письма... Оно пришло так неожиданно и так не ко времени. У меня сейчас такое настроение, состояние, положение, что малейшее напоминание о былой

жизни - как ножом по сердцу. А твое письмо и есть такое мучительное напоминание. Ты не представляешь, как во мне отзывается, например, сообщение о научной конференции на филфаке, что бы я отдал, чтобы ходить теперь по прохладным коридорам университета, до поздней ночи просиживать в библиотечных залах, рыться в книгах, изучать, писать. Это трудная жизнь, но это - жизнь.

...Странный ты, Феликс. Пишешь: "Если ты мне ответишь, напишу подробное письмо". Между тем, пока мы с тобой так объясняем, читать твое подробное письмо, может статься, уже будет некому... А мне так хочется узнать обо всех и обо всем: где Дезька, Лилька, Нинка, что с Ликиной семьей, что делает Илья... в Академии наук?! Что произошло с истфаком, где он, и что это за слияние ИФЛИ с МГУ, где это все размещается... Кто теперь декан?

...Я в ваших глазах - добродетельный, честный, мужественный и проч...дурак. Потому что ум - гражданская добродетель, если он умеет управлять тем, на что он себя направил. Все остальное - произведение зависти бездарностей... Ну да ладно - не ко времени расфилософствовался.

...Если я останусь живой, после войны для меня наступят самые тяжелые времена, потому что я не способен определить свое место в реальной жизни и собрать туда свой "ум".

...О себе что же писать? Жизнь - солдатская: хорошо, если блиндаж с соломой, чаще же - в шалаше в болотном лесу под регулярными минометными налетами и пулеметным прочесыванием.

...Всего доброго, Феликс. Привет всем, кого увидишь и с кем держишь связь. Напомни им обо мне: мы ведь все любили друг друга. Пока прощай. Ваш Толедо".

Воспроизвел письмо, вспомнил те мои обстоятельства и хвалю себя: ни малейшего соблазна выглядеть героем (а это так легко - друзья поверили бы, что бы ни изобразил!), ни тени противопоставления себя им: "я тут - они там", и, главное, представление о счастливой жизни в форме интеллектуальных занятий вне всякой практической цели, прежняя неготовность "делать себя" в своих же собственных интересах...

Взвод мне сформировали примерно из тридцати человек. Но никого из прежних "лыжников" там уже не было, в том числе и моего верного Санчо Панса - Чугунова. Это были мужики между тридцатью и сорока, в большинстве своем курские, орловские и воронежские. Основательные, по-деревенски ироничные, насмешливые. Сказать, что они еще и храбрые было бы напыщенным. Они были просто спокойными, невозмутимыми в своей военной, повседневной работе. Не "высовывались", но и не "тушевались" (их термин) ни перед каким заданием. Это были нормальные, честные, сильные русские мужики. Некоторые курян называли себя хохлами. Когда я недоумевал: вы же русские, а не украинцы, они объясняли: а мы и не украинцы, мы - хохлы, это давно так повелось называть тех, кто живет на переходе от России к Украине. Я всегда думал, что "хохол" - обидная кличка, а оказалось - нормальное самообозначение целого слоя населения.

Я был почти вдвое моложе их. И как командир не очень-то был обучен "строевому делу", даже команды (при построении) не всегда у меня получались "как надо". А некоторые из моих новых солдат прошли кадровую службу и даже участвовали в гражданской войне. Но они снисходительно относились к моей некоторой "интеллигентской" неловкости в военной службе, тем более, что это касалось формальностей, совершенно ненужных на войне. Они меня уважали (не сразу, конечно, но после первого опыта на передовой в июне - окончательно) - за то, что москвич, столичный (в Москве из них никто ни разу не бывал), за то, что "ученый" (студент), за то, что не строю из себя белую косточку, но и не подлаживаюсь под них, деревенских, что уважаю нашу с ними разницу в возрасте и в жизненном опыте, что мне интересна их прошлая жизнь на гражданке. Писем они не получали: их деревни оказались "под немцем". Иногда любопытствовали, чего могут писать "из тыла" их командиру, просили почитать "что можно". Обсуждали. По словам из писем от "женского полу" пытались определить, подходит мне авторша письма или нет. Словом, мне не было необходимости изображать из себя требовательного начальника. За две-три недели мая, когда батальон (и мой взвод) формировался, я хорошо сошелся со своими подчиненными и был уверен, что никогда не подведут. Это подтвердилось. Совсем не то, что было у меня в 203-ем!

Я еще тогда задался вопросом: почему такая разница между теми, с кем пришлось воевать в лыжном батальоне, и этими? Ведь не в возрасте же только дело. Объяснение очевидно: это были люди из народа в настоящем, крестьянском значении этого понятия, с устойчивой моралью, с генетически заложенной в них порядочностью и простым человеческим достоинством. А те - из мещанской среды, которая оказалась в промежутке между народностью аристократии, дворянской интеллигенции и народностью крестьянской, почвенной и которая не успела определиться в народность "третьего сословия" или кадрового рабочего класса. А советская власть, открыв молодому поколению этого несостоявшегося социального слоя "все дороги", освободив от традиций и "страха Божьего", окончательно размыла нравственные рамки в этих людях, заглушила совесть - исконное русское начало.

Среди новых своих солдат я себя чувствовал спокойнее, увереннее. В самом деле - с момента прибытия на фронт я формально числился командиром и фактически выполнял эту роль, но не ощущал себя таковым. А то, что брал на себя больше "рядовых", относил за счет "сознательности" и "грамотности" (в том числе - чисто военной). Теперь я уже всерьез воспринимал себя как командира.

В этой связи упомяну такой смешной эпизод. Дело было в июле, батальон вернули с передовой на отдых, заодно дали задачу - охранять дальним патрулированием штаб корпуса. Дело несложное. Как-то помкомвзвода, тоже из воронежских, старший сержант (хороший, ласковый, добрый мужик был) в присутствии других задает мне вопрос: "Лейтенант (ко мне именно так обращались), а почему ты кубарь не носишь в петлице?" Я замялся. Дело в том, что посланное еще в начале мая представление не вернулось: приказ о присвоении мне звания младшего лейтенанта не был получен. Но я ушел от такого объяснения, счел, что это отразится на моем престиже. Пробормотал что-то, мол, я и треугольничков никогда не прицеплял. Но вопрос меня задел, тем более, что солдаты мои, которым до того было вроде наплевать, уже не могли не замечать отсутствия у меня знаков отличия.

Через пару дней я прикрепил в петлицы по кубарю. Солдаты заулыбались: мол, учел наше мнение. Но когда я появился с кубарем в штабе

батальона, начштаба, младший лейтенант (но уже, понятно, не тот, что в 203-ем) устроил скандал: какое я имею право?! Приказа нет! Это нарушение устава, дисциплины. Непорядок! Немедленно снять!

Начальником штаба был Владимир Александрович Толмачев, инженер-судостроитель из Ленинграда. Записавшись в начале войны в ленинградское ополчение, он, волею судеб и начальства, оказался в войсках, оборонявших Москву, и за год из рядового "поднялся" до начштаба батальона. Потом мы с ним сильно подружились - при всей разности характеров и судеб. Это сохранилось на долгие годы и после войны.

Я ему ответил, что кубари не уберу. Позориться перед своими солдатами не буду, хоть снимайте со взвода! И вообще: почти три месяца прошло, как меня представили на мл. лейтенанта. В чем дело? Либо в штабармии не сочли достойным, тогда делайте выводы, либо бумаги затерялись: для командира на передовой такие сроки - это ненормально! Взмахнул рукой под пилотку, подчеркнуто по-строевому сделал "кругом!" И ушел, не дождавшись разрешения.

Не знаю, докладывал ли он комбату, но еще раз увидев меня через несколько дней с кубарем, сделал "последнее предупреждение"... А еще через пару дней пришел приказ - я был легализован: "гвардии младший лейтенант!"

В течение мая 1942 года отдельный батальон был сформирован. Состоял он из трех взводов, приравнянных по статусу к ротам: 1-й взвод автоматчиков (мой), 2-й - стрелковый взвод, 3-й - пулеметный. Командиром 2-го взвода был назначен старший лейтенант Колесов, лет тридцати пяти. Из кадровых, служака, фартово одетый, по-довоенному, даже фуражку имел... Суконная гимнастерка, которую он то и дело расправлял под ремнем характерным армейским движением обеих рук, ладные сапоги (не кирзовые, яловые). С усами "в колечко", грудь колесом (соответственно фамилии). Добродушный, непретенциозный: не обижался, что 1-м взводом командует пока еще сержант, а 2-м - он, старший лейтенант. На пулеметный взвод поставлен был лейтенант Лагутин, прораб-механик из Воронежа. Хохмач и матершинник, заводила, анекдотист, лихой парень лет под тридцать. Держались мы с ним панибратски, я ему подыгрывал: устраивала такая ни к чему не обязывающая форма общения. Оба - и Колесов и Лагутин, - которые чувствовали себя ближе друг к другу, "сродственнее", ко мне относились

уважительно, даже апеллировали к моим университетским познаниям в военном деле, но по-мужски - как к мальчишке. Когда, помню, на отдыхе в июле, затаскивали к себе в землянку бабу, меня не приглашали. И слава Богу! Для меня тогда одна баба (или девка) на двоих - было и ужасно, и непонятно. Редко при мне откровенничали по бабской части из прошлого, но - бывало... Кое-что запомнилось, ...как, - значит, существующее и дозволенное, но мной не постигнутое...

В конце мая или начале июня два взвода, мой и Колесова, были отправлены на передний край, как раз к той самой речушке Робья, на мосту через которую нас с Чугуновым чуть было не прикончил немецкий пулемет - но подальше от этого бывшего теперь моста, километрах в трех от него. Не помню, кого мы там сменили, но воспользовались их сооружениями и по их образцу дополнительно соорудили свои. Это - своеобразные бойницы чуть ниже человеческого роста из дров, которых там было заготовлено вдоволь еще в мирное время - не успели вывезти. Наш берег был высокий и покрытый лесом, маскировать эти бойницы было легко. На немецкой же стороне лес был не сплошной, возле берега перемежался открытыми местами. Поэтому они свои окопы, выложенные тесом и, видимо, с какой-то "немецкой" системой отлива болотной воды, расположили подальше от берега - по-разному, где в пятидесяти метрах, где в двадцати, а где и в ста. Но в отличие от нас у них это была только передовая линия обороны коридора, образовавшегося в результате их прорыва между Бяково, Рамушево и Старой Руссой.

Бойницы служили только для боевого дежурства. Сзади них, поглубже в лесу у каждой тройки бойцов (на один такой оборонительный пункт - по трое солдат) построили из таких же дров шалаши - там отдыхала смена. От пуль и минных осколков они защищали. Участок обороны, отведенный нашим двум взводам, был длиной примерно два километра. "Командный пункт" (один) мы с Колесовым поставили метрах в двухстах от линии бойниц, в густом лесу. Выбрали местечко повыше, где можно было сделать блиндаж в два наката и прорыть рядом щели от бомб и снарядов. В блиндаже мы жили вчетвером со своими "связными" (они же и денщики). У меня таким оказался прекрасный человек Петр Афанасьевич Дорошевич - воронежский слесарь лет сорока. Человек с благородным, тонким правильным лицом;

сдержанный, улыбчивый, неразговорчивый. Неутомим и добросовестен был предельно - в любом деле. Он меня просто, по-отцовски полюбил и стал мне чем-то вроде "дядьки", каких в стародворянские времена отцы отправляли на войну вместе со своими молодыми сыновьями. (Может быть, он обратил на меня свою доброту еще и потому, что семья его осталась в занятом немцами как раз летом 42-го Воронеже, он ничего о ней не знал и не надеялся когда-нибудь увидеть.)

Война наша тут была такая. Регулярно три раза в день немцы устраивали массированный минометный налет. В течение нескольких минут весь лес превращался в кошмар грохота, огня и свиста осколков. Столь же регулярно немцы прочесывали лес из тяжелых и обычных пулеметов (мы их называли "электрическими" за скорострельность, отличавшую их даже от "максимов"). Пулеметные обстрелы бывали и ночью. Изредка ухали по нам снаряды, в том числе - очень тяжелые. Один такой, 300-миллиметровый, поломав много деревьев, упал не взорвавшись, неподалеку от нашего блиндажа. Однажды вечером чуть было не случилось несчастья: лежали с Колесовым на нарах в своем блиндаже, Дорошевич только что вошел с котелком. И в этот момент раздался страшный грохот, часть бревен над нами обломилась, густо посыпалась сверху земля настила, в дыре над нами обнажилось небо. Выскочили оглушенные: оказалось снаряд средней тяжести приблизительно 80-миллиметрового калибра ударил прямо в щель, в двух метрах от блиндажа. Воронка оказалась впритык к его стенке. Чуть левее - и он накрыл бы нас всех. (Кстати, Дорошевич перед тем, как пойти к нам в блиндаж, спал в этой щели - "чтоб не мешать начальству".)

Нас не переставала удивлять регулярность немецких обстрелов. Каждый день в определенный час. Будто для того, чтобы мы успели попрятаться. До сих пор этого не понимаю - несмотря на все изыскания наших ученых полковников о военном догматизме немцев. Однажды я чуть не поплатился, пренебрегши этой регулярностью. Утром почтальон принес письма. Я стоял у блиндажа и, облокотившись на сук осины, читал. И вдруг - вжик, сук обломился у меня подмышкой, его срезала крупнокалиберная пуля.

С нашей стороны никаких артминообстрелов не бывало. Ни минометов, ни гаубиц за нашими рядами не было. Изредка прилетали штурмовики "Ил-

2" и утюжили противоположный берег речушки. Один "Ил" был сбит на наших глазах "мессершмиттом", когда уходил после атаки.

Иначе говоря, фактически мы держали пассивную оборону, хотя по сути противостояния сторон в этом месте немцы находились в обороне, защищая свой коридор от нашего возможного прорыва на новое их окружение в Демьянском котле.

В чем же заключалась моя "работа"? Каждое утро после очередных обстрелов я с Дорошевичем начинал обход своих постов - дровяных бойниц и шалашей. Никакой другой связи у меня с ними и между ними самими не было. Занятие опасное, особенно потому, что задачей (видно, у немцев тоже) было стрелять по любой появившейся вне укрытия цели и - время от времени - по самим укрытиям, для острастки.

В бойницах задерживался. Записывал все, что солдаты заметили за сутки, перебирался в следующую бойницу и т.д. Возвращался на "командный пункт" часам к четырем-пяти. Иногда по утрам ко мне присоединялись... девушки, снайперы из женского батальона, который располагался километрах в трех на противоположной опушке леса. Девушки шли на очередную "охоту". Они каждый день меняли позицию, но предпочитали выбирать их неподалеку от наших бойниц. Мне приятно было с ними общаться, там были и москвички. Беззаботно, по-женски храбрые, отчаянные. Признаюсь, в душе меня шокировало такое участие женщин в войне: не женское дело убивать. Но было и чувство восхищения ими (я умел "отключать" восприятие их в такой обстановке от их занятия). И брало просто отчаянье, когда узнавали, что подстрелили одну, другую... Они становились жертвами снайперских дуэлей - стрельбы по сверкнувшему на солнце оптическому прибору.

Однажды в сумрачное дождливое утро подобрался я к первому из пунктов моего обхода и остолбенел: прямое попадание снаряда в дровяную бойницу разметало все... и все трое солдат, разорванные на части - тут же. Дрова уже еле тлели. Значит, произошло это ночью, может даже вечером. Но почему все трое оказались в бойнице? Один, как минимум, всегда должен был оставаться в шалаше. Так и осталось это для меня странной загадкой.

Всего за полтора месяца на этом задании мой взвод потерял семь человек. Помимо этих троих, убитых сразу, двое были тяжело ранены во

время пулеметных прочесываний; одного, видно, "снял" снайпер на дежурстве в бойнице. И еще одного отправили в госпиталь "с животом", - чего-то объелся, а может, старая язва открылась.

Над нами ежедневно подолгу и беспрепятственно кружили либо "рама", либо "костыль" - немецкие разведывательные самолеты (заодно и корректировщики огня) с совершенно удивительными повадками. "Рама" - это двухфюзеляжный двухмоторный самолет ("Фокке-Вульф 189", если память не изменяет), действительно напоминавший по форме тонкую оконную раму. Она проделывала невероятные фортели в воздухе, чуть ли не переворачивалась "через голову". За вертлявость ее называли еще "проституткой". Она резко снижалась чуть ли не до земли, внезапно взмывала вверх и парила как ястреб над добычей. Сколько раз за войну я видел, как наши истребители пытались ее сбить. Но ни разу не видел, чтобы это им удавалось.

"Костыль", в отличие от изящной "рамы", имел совершенно отвратительный вид. Это одномоторный моноплан, очень похожий на современные спортивные самолеты, к которым привязывают разные плакаты во время авиационных праздников. Мало того, что очень маневренный, как комар (хотя и тихоходный), он еще и бронированный. И его тоже не так-то просто было прижучить - ни зенитками, ни истребителями.

"Рама" и "костыль" снабжали нас, бывало, актуальной информацией. Особенно запомнилась от того лета очень выразительная листовка с изображением немецкого танкового клина, устремленного под красным флагом со свастикой посередине на Керчь. О ее взятии Совинформбюро сообщило много позже.

Кормежка на этой передовой впервые за мою войну была вполне приличной. Но тут я должен немножко вернуться назад.

Еще когда мы оказались на сборном пункте, куда нас направил адъютант начштаба корпуса, мы воочию убедились, что все войска в этом районе фронта отрезаны от баз снабжения распутицей. Тот, кто знает распутицу, скажем по Подмосковию, просто не в состоянии представить себе ту распутицу на Северо-Западном фронте, в треугольнике Осташков-Холм-Старая Русса. Это - болотная трясина. Дороги, если они шли по открытому месту, можно было различать только по столбам и придорожным кустикам.

Ни о каком транспорте речи быть не могло. Лошади, навьюченные снарядами и патронными ящиками, тонули в жидкой жиже.

Нас с вещмешками - человек пятьдесят - отправили куда-то в направлении Осташкова за хлебом. Километров тридцать по такой-вот "дороге" - сплошное мучение, особенно на обратном пути, когда возвращались, нагруженные буханками.

Этим мы занимались и во время формирования отдельного батальона в мае. И сейчас перед глазами длинная редкая цепочка солдат, выбирающих куда сделать следующий шаг, чтоб не погрузиться по пояс. То один, то другой проваливались и вылезти могли лишь с помощью товарищей. А над ними через каждые 15-20 минут с немецкой пунктуальностью - пары "Ме-109", - как осы, с характерным своим надрывным свистом заходят и раз и два и три, поливая с бреющего полета из пулеметов. И никуда не денешься: ни убежать в сторону, ни залечь в кювет, ни спрятаться за что-нибудь - ты прикован к месту полуметровой черно-глинистой грязию.

Время от времени в районы расположения частей, причем очень приблизительно и неприцельно, четырехмоторные "ТБ-4" - "летающие гробы", как их совершенно точно называли солдаты - сбрасывали прямо на поле или в лес мешки с сухарями (возможно, с чем-то и другим - нам ни разу не досталось). Ходили разговоры, будто на местах, куда падали эти мешки, разыгрывались самые настоящие - и не только рукопашные - бои между нашими ротами и батальонами: кто первый схватит, кто больше унесет.

Такое положение сохранялось примерно до середины июня, когда дороги более или менее восстановились.

Голод был почти абсолютный: что-то ухитрились варить из крапивы, лопухов; счастьем было, если убивало лошадь - ее тут же "разделявали" на куски - и тоже доходило до драк. Многие доведены были до дистрофии. Мой друг Николай Варламов (я еще расскажу о нем), который в это время воевал в бригаде морской пехоты, оказался "по этому случаю" в госпитале и приобрел последствия на всю жизнь. Меня и на этот раз Бог миловал.

Когда наш батальон "расположился" в июне на передовой вдоль упомянутой речушки, снабжение начало налаживаться. 800 грамм хлеба, каша в брикетах, известных под названием "концентрат", (пшенная, иногда

гречневая), все тот же комбижир, изредка тушенка или американские консервы⁸, немного сахара и чая...

К концу июля наши два взвода - Колесова и мой - вернули на отдых в расположение штаба корпуса.

О чем я думал помимо моих взводных обязанностей, можно составить представление по письмам к Феликсу Зигелю, одно из которых я уже цитировал. Письма я писал и отцу с матерью, девушкам, любившим меня, другим школьным друзьям. Но те все по разным причинам пропали. А эти - к Феликсу - мне вернули после его смерти.

Из письма 12 июня. "... Ты пишешь, что преуспел, идя своим путем. Все мы идем своим путем. Разница в том, что ты идешь там и туда, где и куда находишь для себя желательным. А я - там, где желают другие. Им это приятно - льстит их представлениям о добре и зле... Объясняется эта моя особенность многими причинами, может быть, больше всего каким-то неотвратимым как страсть доверием к людям, беспощадным уважением к так называемым нравственным категориям, понятиям, которые часто оказываются просто словами...

....Нинка Гега в письме своем, восхваляя мое "мужество, благородство, честность, смелость" и пр., восклицает: "Чувство долга у тебя прежде всего!" Но перед кем долг-то? Для кого? Вот тут-то и бессмысленность превозносимых друзьями "доблестей" (в древнегреческом смысле.)

... Ты напрасно полагаешь, что попади ты в мои условия, перестал бы "философствовать". Говоришь - для "философствования" нужен досуг. И опять же должен тебе сказать, что в противовес тыловым представлениям о фронтовом бытии, досуга здесь хватает... На войне многое пришлось передумать - о людях, о жизни, смерти и счастье, о месте личности, о женщине, о немцах, об их "социально-нравственном" облике... Между прочим, мне пришлось воевать не в уме, а с автоматом против своего любимого Ницше. И видно рано и не под силу ему тягаться с учением Христа, за которым история длиною свыше полутора тысяч лет, - это, если посмотреть на эту войну с позиции борения нравственных начал, значение которых в жизни оказывается еще очень велико..."

⁸ И то и другое имело какое-то фронтовое характерное название, но я запомнил.

Из письма от 11 июля. "... Не удивляйся, дорогой Феликс, я привык быть равнодушным, - это средство сохранить нервы в состоянии, приличном человеку, желающему быть порядочным...

Я не понял самой сути идеала, которому ты служишь... идеи, утвердившей тебя в жизни и успокоившей тебя. Может, потому, что мне вообще непонятно, что значит поставить для себя цель и как это можно подчинить все многообразие жизни, ее соблазны, порывы, случайности одному постулату...

...Для меня ведь проблема не в том, чтобы найти что-то, определяющее мой путь в жизни, какой-то маяк, вершину, завершение... Для меня главное - суметь заставить себя во всех случаях, при всех поворотах действовать однообразно, вернее сообразно принципам порядочности...

Может быть, поэтому вы, мои друзья, не нашли для меня никакой этикетки. Возьми Жорку, Илью, себя, Вадима, Пашку Гребнева, Дезьку, Левку Безыменского - каждому в новогодних и других "пожеланиях" нашей школьной "Академии" находилась какая-то односложная характеристика, обозначавшая наиболее выразительную черту их личности. И, помнишь, какие эти "метки" были точные, остроумные и потому смешные? А для меня такого обобщающего знака не находили, потому что искали в сфере нравственного, т.е. самого неопределенного по сравнению с умственной, духовной, деловой оценкой человека.

...Не было, значит, во мне такого, за что можно было ухватиться в этом смысле и что обобщенно определяло бы физиономию личности. И приписывали мне всякий вздор... Я умел нравиться, "обнаруживать" в себе то, что хотели во мне видеть... - угадывали и гордились своей проницательностью!..

...Насчет твоего идеала, цели. Я знаю Вернадского, но не понимаю его, так же, как не понимаю религиозности академиков Павлова, Карпинского и др. Когда ты хочешь научно обосновать эту религиозность, я тоже не понимаю... поскольку речь, видимо, идет не о ренановской проблеме действительного существования того, кому приписывается создание основ двухтысячелетней морали... В общем пиши яснее. Уверю тебя - ничего не понял.

...И не надо мной восторгаться: самая обычная судьба, самые естественные в наше время невзгоды и лишения".

Из письма от 2 августа 1942 года. "Ой, Феликс! Опять я не "Богу свечка, ни черту кочерга". Первое - слишком елейно, второе - чересчур неприятно. Словом: *Nemo sum, humani nihila me alienum puto*"⁹. Жизнь ощутить сполна, во всем многообразии, естественном величии и горести, и не коверкать ее высокомерными идеалами... Не пытайся обратить меня в свою веру - пустое занятие...

Я велосипедист в жизни. А ты знаешь, что случается с велосипедистами, когда переднее колесо попадает в колею... К тому же - велосипед для чего служит? Для прогулки, для удовольствия!

Помнишь Омара Хайяма? Я в этот мир пришел, богаче стал ли он? Уйду - великий ли потерпит он урон?!

Поэтому *carpe diem*¹⁰, Феликс, *carpe diem*! Женщину я бы еще сделал своим идеалом, таким же всепоглощающим и всеобуславливающим, как для тебя - "твой идеал". Женщина (настоящая женщина) - сама жизнь, возбудитель всех страстей, способностей человека, она придает смысл всему, что есть на свете.

Хотя... блажен и преуспевает тот, кто держит свои убеждения при себе, цель перед собой, а своими способностями жонглирует примерно так, как индийский факир своими змеями (они его не кусают, но очень опасны для других).

...В конце скажу: ты был бы меньше уверен в том, чем кончаешь свои письма, предвещая нашу скорую встречу, если бы знал о действительном положении дел..."

Я читаю сейчас эти свои письма совершенно отстраненно, будто это - не я был. Но мне кажется, для историков, мыслящих свой предмет универсально и многопланово, любопытно будет это "явление": советский молодой человек, уже кандидат в члены коммунистической партии, воюющий командир пусть малого ранга, зато - в солдатской шкуре, каждый день рискующий оказаться "по ту сторону (того самого по Ницше) добра и зла" - и вот, что у него сокровенное в мозгах.

⁹ Я человек, ничто человеческое мне не чуждо (лат).

¹⁰ "Срывай день" (лат), т.е. лови мгновения, пользуйся каждым днем, не надеясь на будущее.

А между тем... Именно в эти дни вышел знаменитый приказ Сталина N 227. Мой взвод уже был на отдыхе. Нам его зачитал перед строем комиссар батальона. Пусть не покажется пижонством, но в самом деле, не запомнилось, чтобы это потрясло меня и моих солдат. Мы и без приказа знали, что положение отчаянное и держится на каких-то случайностях. И никого не устроили кары, обещанные в приказе трусам и паникерам. Потому что друг друга проверили уже, ни разу никто не спаниковал, а уж бежать с поля боя - и в голову не могло прийти. Поэтому грозные слова на этот счет воспринимались, как относящиеся к кому-то другому, к тем, кто воюет где-то на других фронтах.

Вообще, должен сказать, что мои крестьянские куряне и пролетарские воронежцы без всякого "культа" относились к Сталину. Про клич "За Родину, за Сталина!" они читали лишь во фронтовой газете (других мы не имели) и воспринимали его примерно так, как в свое время неверующий мужик "Отче наш". Полагается - ну и ладно! Им и в голову не приходило, что они могут пойти в атаку с такими словами на устах. Для них - даже для тех, у кого родные оказались в оккупации, - война была чем-то подобным стихийному бедствию, с которым надо справиться чего бы это ни стоило. И никто ни разу, как бы плохо ни было, в самых, что называется, "душевных разговорах" - а они бывали у меня с солдатами, и тогда настроения этих простых людей просвечивались до дна - не допускал и мысли, что Гитлер может победить.

И Сталин для них, в отличие от меня, столичного и "образованного", был чем-то абстрактным, неким символом абсолютной власти, представленной в портретах, но не в виде живого человека. Личностного отношения к Сталину как вождю (в отличие, видимо, от Ленина в его время) у этих людей, моих солдат из глубинки, не было. И никакой "любви" к нему, прославленной в песнях и стихах, естественно тоже.

А что касается пресловутого приказа N 227, то значение его преувеличивается - и в апологетических сочинениях о войне, и в разоблачительных - при гласности. По собственным размышлениям и на основании последовавшего опыта, думаю, что не нужен он был вообще, этот "страшный" приказ. Он - плод паники самого Иосифа Виссарионовича. И Сталинград отстояли, и под Курском победили совсем не благодаря штрафным батальонам и ротам или заградотрядам. Кстати, штрафные роты

существовали и до того, а после приказа они стали еще и прикрытием для массовых безнаказанных злоупотреблений со стороны больших командиров: чуть что не понравилось в человеке, оступись, допустил слабину или даже невольную ошибку - в штрафбат его или в штрафную роту, если нижний чин!

Забегая вперед - один эпизод на эту тему. В конце 1943 года я был направлен на фронтовые курсы переподготовки офицерского состава в Вышний Волочек. Так вот: одного старшего лейтенанта, за то, что он из увольнительной пришел в казарму не вечером, а утром - задержался у бабы, вывели перед строем и начальник курсов лично ножинками срезал у него погоны. Тут же офицер с орденом и медалью за прошлые бои был отправлен в штрафбат! Эта экзекуция вызвала не страх, не уважение к дисциплине, а отвращение и ненависть к этому порядку и к этому полковнику - начальнику курсов.

В начале сентября мой взвод, только он один из батальона, был выдвинут вновь на передовую - южнее Рамушева, по правому берегу Ловати. День был сумрачный, дождливый. Выступили к вечеру, часть пути надо было идти по открытому месту. Я считал, что хорошо знаю этот район - и по зимней патрульной службе, когда 203-й лыжный стоял в Рамушеве, и по боям в апреле, и "отступлению" вдвоем с Чугуновым. Повел взвод уверенно. Но когда стемнело, почувствовал, что начинаю плутать: по моим временным расчетам мы должны были бы уже выйти к реке, а ее все нет и нет. Двигались уже по кустам и никаких видимых ориентиров не было. Я прибавил шаг. От нервного напряжения усталости я не чувствовал. А солдаты уже изрядно измотались - по бездорожью-то, да еще по зарослям. Помкомвзвода стал мне намекать: мол, и отдохнуть пора. Но у меня был приказ - с точным сроком занятия позиции. Я не исключал, что командованию было известно, что именно в это время немцы приблизят к противоположному берегу свою линию. Возможно и вообще подозревается какая-то у них перегруппировка по ту сторону Ловати. Я продолжал спешить. И Боже! Какое счастье, как сразу отлегло от сердца, когда кончились кусты и в пятидесяти метрах я увидел берег, причем в том самом месте, где нам следовало закрепиться: именно тут к реке выходил узенький, но глубокий овражек.

Ничего существенного за две недели, пока мы тут стояли, вырыв окопы и два блиндажа на высоком обрыве реки, не произошло. Немцы держали

линию в 100-150 метрах от берега. Это понятно - их берег был плоский, они были у нас на виду. Но и подходы к позициям моего взвода хорошо от них просматривались, а по овражку они регулярно колотили минами. Поэтому от хозвзвода с продуктами мы опять были отрезаны. Приходилось посылать своих: обозники боялись высовываться с повозкой из кустов.

По ночам становилось уже прохладно, а печурку заводить в блиндаже было невозможно: дым - хорошая мишень.

К концу сентября мне было приказано переместиться севернее вдоль берега, к деревне Козлово. Она была начисто сожжена. Мы заняли окопы, оставшиеся от предшественников, а мне соорудили блиндаж чуть подальше от берега, приспособив для этого погреб от сгоревшего дома на окраине деревни. В тылу у нас перед злополучным Залучьем, одним из сильных опорных пунктов немцев на Демьянском направлении, стояли части 129 с. д. У них была артиллерия и "катюши", которые иногда угощали немцев напротив мощными залпами. Черные длинные снаряды "катюш" гудели над нами. Некоторые не долетали, рвались у кромки того берега или попадали в воду. Мои солдаты "шутковали": не ровен час долбанут и по нам. Залпы "катюш" - зрелище эффектное: целая стена из дыма, огня, земли под страшный грохот поднималась на много метров в воздух. И мы знали, что нередко эти "стены" вздымались над окопами наших войск, а то и в рядах атакующих. Прицельность "катюш" и их техническая надежность были весьма несовершенны. Еще больше это относилось к "ванюшам". Что это такое? Это снаряд похожий на огромный головастик: шар диаметром около 40 см, в нем мощный взрывной заряд, и "хвост" - метра полтора. В хвосте - такое же устройство, как в снаряде "катюши", обеспечивавшее полет. Запускались "ванюши" с наклонной установки (мы ее прозвали "бороной", очень уж похожа), по четыре штуки на каждую такую борону.

Сам видел однажды, как один такой "ванюша" после запуска пошел не по навесной траектории, как ему полагалось, а настильно в метре от земли, ударялся боками то об одно дерево, то о другое, буквально "метался" в редком лесу, пока не угодил в дерево головкой взрывателя. И смех и грех! О меткости тут уж совсем нечего и говорить. Но зато, если долетал до противника, наводил ужас. Впрочем, дальность у "ванюши", не помню точно, но не превышала, кажется, трех километров.

Расположились мы в районе Козлово тылом и правым краем к 129 с. д., фронтом к немцам, от которых нас отделяла Ловать, шириной тут шагов 70-90.

Был тихий пасмурный день конца сентября. Запомнилось: Дорошевич затеял печь блины в моем уютном блиндаже. Только мы приступили к пиршеству, появился над нами низко летящий "Ю-88". Ушел. Через несколько минут - другой. Потом - пара. Прошло полчаса, повторилось то же самое. Не обстреливали, не бомбили. Меня удивило, что это "Ю-88": все-таки двухмоторный бомбардировщик, который "работал", как правило, в наших ближних тылах, не на передовой линии, не пикирующий. Так я и не понял, почему этот тип самолета выполнял разведывательно-запугивающую функцию.

Ночью на дороге через Козлово задвигались наши части: какая-то передислокация, явно чего-то ждали. А как рассвело, немцы начали мощную артподготовку и по порядкам 129 с. д. и по Козлово. То тут, то там возникали "карусели" "Ю-87". Сновали парами "мессеры", обстреливая все что попало из пулеметов.

К полудню через деревню все гуще пошли, а то и просто побежали солдаты из 129 с. д. Я вышел на дорогу. Пытался у командиров выяснить, что происходит. Ни у кого ничего толком узнать не получалось - отходим и все! В душе я запаниковал: а мне-то что делать? Побежал к своему блиндажу. Навстречу Дорошевич: Вас ищет какой-то майор. Подхожу, отдаю честь. Он тоже представился: из штаба корпуса. Вам, говорит, приказ - развернуться по восточному краю Козлово и вместе с другими подразделениями до утра предотвратить прорыв немцев здесь к реке: вдоль берега мимо вас должна быть выведена и спасена от отсечения часть артиллерии 129 с. д.

Я говорю: а если немцы начнут переправу через Ловать? Мы же оголяем весь берег на протяжении более километра. "Не ваша забота!" - что-то в этом роде возразил майор. Спрашиваю: командир моего батальона знает об этом приказе? "Узнает! - отрезал майор. - Выполняйте!"

Я послал Дорошевича вызвать ко мне командиров отделений. Вместе, падая при свисте и взрывах снарядов и мин, среди десятков бегущих мимо бойцов, прорвались на "другой" край Козлово. Стали прикидывать, где кому занять позиции. Увидели, что еще три командира занимаются тем же: у них

такой же приказ, как и у меня. Договорились, кто где закрепится. Остался с Дорошевичем и помкомвзвода, сержанты побежали снимать с берега свои отделения.

Закопаться как следует мы не успели. Из дальних кустов появилась цепь немцев. Пулеметный и автоматный огонь по нам - голову не поднять. Однако два десятка наших ППШ (взвод -то ведь автоматчиков) и два "ручника" тоже кое-что. Соседи справа и слева вооружены были пожиже, но стрельбу открыли отчаянную. Немцы откатились в кусты. И начался минометный кошмар. "Ю-87" - волнами, одна за другой, держат "карусель" над нами. Снова атака, и снова наш шквальный автоматный огонь. Опять удержались. Говорят в таких случаях "об управлении боем". Какое там! Я, окопавшись вместе с Дорошевичем - рядом еще два моих - стрелял как и все. Команд никаких не требовалось, да их никто бы и не услышал. Каждому и так было ясно, что и когда надо делать. Никто не побежал, хотя весь день видели, как бегут другие.

Как только спустилась темнота, сзади послышался гул моторов - это по берегу, вдоль наших прежних позиций тащили, спасали артиллерию 129 с. д.

Ночью я прошел по окопчикам своего взвода. И пришел в ужас. Уцелело пятнадцать бойцов. Убитых на месте - восемь. Раненые ушли или оттащены в тыл. Велел стянуться поближе к месту, где был мой окоп - чтоб все оставшиеся были в пределах моей видимости.

Наступило утро. Немцы молчали. Видно, поняли, что отсечь 129 с. д. им все-равно не удалось. Но зато по нам стали постреливать с того берега те, против кого мы стояли до вчерашнего дня.

Часов в 10 подполз боец из колесовского взвода, я его знал в лицо. Это был связной от командира моего батальона: приказ - отходить, указано место - в овраге поблизости от Ловати, километрах в семи от Козлова. Команду передал по цепи: чтоб по одному перебежали к моему прежнему блиндажу, потом - под откос, к кромке воды, там камыши и можно более или менее скрытно отходить вверх по реке.

Но в этот момент начался "утренний" минометный налет. При перебежках потеряли еще несколько человек.

Когда я с Дорошевичем подбежал к своему блиндажу, застал его забитым остатками взвода - десять человек. У людей, понятно, сдали нервы,

но командира не бросили, не побежали кто как сумеет. Блиндаж был немножко на склоне в сторону реки и по нему уже пристреливалась пушка, выдвинутая немцами на том берегу на прямую наводку.

Я залез внутрь. И потребовал, чтобы немедленно по-одному выскакивали и броском - под откос. Первый выскочил санинструктор (опять же - запомнилось - с СВТ, почему-то они предпочитали эту винтовку, а, может, у них "санитарная" такая установка была...). И в это же мгновение - оглушительный взрыв, блиндаж затянуло дымом и вонью. Снаряд угодил прямо в траншею, которая образовывала выход из блиндажа. Санинструктор был разорван в клочья.

Ужас подхлестнул людей. Один за другим бросились прочь. Я выждал минуты две-три. Рядом с блиндажом гроыхнуло еще несколько взрывов. Рванул вслепую и буквально скатился по круче на песок у берега.

Вытянулись в цепочку. От взвода в двадцать семь человек осталось нас девять, даже восемь, девятым был связной из колесовского взвода.

На пути к назначенному месту застали такую сцену. Когда вышли к большой дороге, увидели генерала в окружении свиты. Он был "в полной форме", орал, матерился и бил по лицу фуражкой с красным околышем какого-то командира, судя по одежде, тоже не малого ранга. Мы прошли сторонкой. У нас был приказ и мы "свое дело" сделали... Генерал тот был командующий в то время нашей 1-й Ударной армией генерал-лейтенант В.З.Романовский.

Наступательная операция немцев, как я догадался и потом получил подтверждение от командира батальона, имела целью расширить коридор, который они пробили из Демьянского котла в апреле. И операция опять была вполне успешной. В сводках Совинформбюро это называлось "бои местного значения".

На другой день я был вызван в штаб корпуса. И здесь состоялась моя последняя встреча с полковником Рубцовым. Она осталась навсегда в памяти. Он обнял меня. Сказал: "Благодарю, лейтенант. Вы будете награждены. А пока - вот от меня". Снял с пояса маленький трофейный пистолет и протянул его мне в кобуре. Я стоял ошарашенный. Произнес что-то интеллигентское, а не положенное - "Служу Советскому Союзу". Он похлопал меня по плечу, развернул: "Идите, дорогой, желаю вам удачи!"

Действительно, за этот бой в конце сентября 1942 года все мои восемь оставшихся бойцов получили вскоре солдатскую медаль "За отвагу", а я - медаль "За боевые заслуги". Еще ту, в прежнем исполнении, с серебром и на прямоугольной небольшой красной муаровой ленточке (а не на желтой треугольной, как стали давать позже).

Драгоценнейшая из моих наград. В том, 1942-ом - до Сталинграда - орденами и медалями, как известно, не очень жаловали...

В октябре я был "повышен в чине" - стал гвардии лейтенантом. В этом же месяце был принят в члены партии. Долго, помню, шли по уже ставшей подмерзнуть дороге на КП армии, где в политотделе "в торжественной обстановке" получили партбилеты: я, Дорошевич и еще двое моих солдат.

В это время у нас переменялся командир батальона. Вместо боевого кавказца был назначен майор Иван Иванович Глинкин - до войны профессор Воронежского сельскохозяйственного института. Совершенно гражданский человек лет сорока пяти (мне он казался старше), полноватый, с добрым плоским лицом, напускавший иногда на себя воинскую суровость, ругатель, но не злобливый. Какая-то военная биография у него, наверное, все-таки была. Он, несмотря на свою грузность, легко скакал верхом и лихо владел шашкой (шашка непонятно откуда у него взялась, хотя кони в батальоне к концу 1942 года завелись). Даже пытался нас, подчиненных командиров, учить, как надо рубить: тренировал на молодых деревцах. Оказывается, нельзя при ударе сгибать локоть, рука должна быть совершенно прямая. Он же научил меня ездить верхом: методом бросания в воду не умеющего плавать. Погонит, бывало, вперед свою кобылу, а ты за ним трюхаешь мешком, отбивая в синяки всю промежность. Хохочет! Но научил. Через некоторое время я довольно прилично уже скакал и галопом, и в карьер, и ездил рысью, что далось труднее - нужно частое "автоматическое" приподнимание в стремянах в такт аллюру лошади.

Лошади во взводах, переименованных в роты, впрочем, с небольшой добавкой к личному составу, понадобились потому, что фронт наш, Северо-Западный, к концу осени окончательно "встал", замер до февраля 1943 года, когда была попытка разгромить Демьянскую группировку при ее отходе из котла. А что после Сталинграда немцы оттуда уйдут, было ясно каждому. Ушли немцы "организованно и (почти) без потерь". А мы "выровняли

фронт", который опять встал, на этот раз уже на целый год, вплоть до общего наступления по всему советскому фронту в 1944 году.

В февральской операции, для которой Северо-Западный фронт возглавил даже Конев, наш батальон не участвовал. В конце 1942 года мы были отодвинуты еще южнее вдоль по Ловати, ближе к г.Холм, где зимой вновь образовалась условная линия раздела между нами и немцами, обозначенная разреженными с обеих сторон пунктами обороны и для вылазок друг против друга время от времени.

Мой взвод поздней осенью 1942 года был поставлен снова на левом берегу реки, но значительно южнее Поддорья. Ситуация была довольно спокойная. Проводили время "бдительно", но почти как на отдыхе или в резерве - на случай каких-нибудь провокаций.

Свой КП до нового года я держал на заброшенном лесном хуторе. Через "меня" партизаны санными обозами ходили "в тыл врага" и выходили обратно. В январе, однако, пришлось переместиться в лес и жить в "снежном блиндаже".

У солдат тоже были снежные укрытия для отдыха и сна, и снежные окопы для боевой службы.

На уровне роты и, наверное, батальона, нам не дано было знать "стратегического" замысла нашей новой службы на дырявом фронте за Ловатью между Рамушевым и Холмом. Скорее всего, мы должны были предупредить о возможном ударе в тыл нашей армии во время операции (неудачной, как я уже писал) по уничтожению Демьянской группировки.

От этих последних месяцев 1942 года и первых 1943-го остались в памяти: появление погон; новый год в штабе батальона и знакомство с Николаем Варламовым; февральская стычка с немецкой разведкой, когда погибли двое из моих "старых служак".

Введение погон, изменение формы (правда небольшое) и переименование командиров в офицеры мне понравилось. Это льстило "семейной традиции". Старые же мои солдаты встретили новшество с недоумением и возмущением: "мы офицерье-золотопогонников били в гражданскую, а теперь сами погоны надеваем".

На отдаленном одиноком хуторе, на КП моей роты мы узнали о наступлении под Сталинградом. Радость была великая. Но у нас ничего не

переменилось. Немцы на нас не выходили, а у нас не было задачи их "активно щупать". По три-пять человек мои солдаты дежурили в пунктах вероятного их появления. Сменялись сутками, отогревались в хуторских постройках. Вечерами свободные от службы - человек по 10-15 - собирались в моей избе. Разговоры разговаривали. Чаще меня просили "что-нибудь" рассказать. Помню, с простодушным интересом слушали "историю отечественной войны 1812 года", которую я им порциями описывал, привирая, где забывал, и сильно приукрашивая.

На Новый год офицеры были вызваны в штаб батальона. От моего хутора он отстоял километрах в десяти, может, и дальше. Ехали мы с Дорошевичем в розвальнях долго, больше лесом. Жутковато, мороз, звездное небо между высоких елей, трепыхание тетеревов в верхушках деревьев, отдаленные редкие выстрелы, короткие дальние очереди: наши, но в основном немцы "дают знать", что бдят. Приехали последними.

Иван Иванович Глинкин, комбат, уже со звездочкой на двухпросветном погоне, принимал всех как радушный домовитый хозяин. Уж не знаю, спрашивал ли он у своего начальства разрешения - собрать всех офицеров в одном месте на целую ночь, или сам отважился. Впрочем, риск был небольшой: немцы по праздникам не воюют - это знали все.

И вот здесь я встретился с Варламовым, который стал моим другом на всю жизнь, до сих пор. Ладный, высокий, с чуть косолапой походкой. Он совсем недавно появился в батальоне на должности командира пулеметной роты, тоже лейтенант. Начинал в бригаде морской пехоты. Но после госпиталя - от весенней дистрофии - попал к нам: его бригада тем временем перестала существовать, разделив, видимо, судьбу той самой 52-й, с которой вместе мы воевали под Бяково в апреле. Москвич, из семьи потомственного рабочего-большевика. Учился в знаменитом морском училище им. Дзержинского в Ленинграде. Но перед самой войной за стишки, в которых усмотрели критику на Сталина, его списали во флот рядовым. Оттуда он с началом войны и попал в морскую пехоту на Северо-Западный фронт. Умен, характером крут и независим. Обидчив и горд. Человек кристальной порядочности. Вроде прост и доступен в общении, "не задавался", но вряд ли подпускал кого близко, кроме меня.

Безусловно одаренный от природы. Поразительны были его остроумные записочки, которые он мне слал со своего КП. Просто профессиональные и талантливые сатирические "письма", написанные гекзаметром или ямбом.

Сразу после демобилизации в 1946 году Николай попал в аппарат ЦК КПСС на административно-техническую должность по обеспечению секретности документов. И там остался до самой пенсии в 1990 году. Там он и "зарыл свой талант в землю". В общем-то все понятно: вернувшись из армии, женился, жить негде (бывал я у них в полуподвале на Балчуге - убожество). Родилась дочь... Восстанавливать профессию - надо доучиваться. А где? В Ленинград не вернешься, да и предметы, необходимые для окончания втуза, подзабылись. А тут - по-соседству с высшей властью - не Бог весть какие привилегии по тем временам, но все же надежно.

Дружба с этим человеком позволила мне, "в индивидуальном порядке", воспользоваться богатством его природной незаурядности.

Красивый и интересный, он имел неизменный успех у женщин. Их было много у него. И это, думаю, украсило и его монотонную жизнь, и им принесло много радости. С женой, доброй, деятельной, умной, они прожили 40 лет в согласии и супружеской близости. Несколько лет назад она умерла. Остались с Колей две прекрасные дочери, внук и внучка - в своих семьях, редких в наше время по достойному образу жизни.

Это - теперь. А тогда, под Новый, 1943, год, когда мы впервые встретились с Николаем Варламовым, о будущем не задумывались, да и не надеялись на то, что оно у нас будет. Бесшабашный был тот Новый год. Комбат "руководил" весельем, сам трезвый, а нас проверял "на стойкость". Запомнил я его фразу перед тем, как "отключился": "Котята вы, пить-то совсем не умеете". Это относилось к нам с Колей. Я впервые в жизни напился вдребадан и проснулся лишь в санях на рассвете, когда Дорошевич подвозил меня к моему "хутору-КП".

Как я уже упоминал, хуторок этот вскоре пришлось оставить и "переселиться" северо-западнее, устроившись уже не "в лубяном, а в ледяном домике" - в укрытии из облитого водой снега, внутри выложенном еловыми ветками.

На этой нашей позиции - то ли в январе, то ли в начале февраля - произошла короткая жестокая стычка с немецкой диверсионной группой.

Было это вечером. Я сидел и при коптилке из снарядной гильзы чистил свой наган. Дорошевич напротив что-то зашивал. Вдруг - выстрелы. Вбегают солдат, один из оставшихся курян: "Лейтенант, немцы!" Я схватил автомат, выскочил в траншею и в этот момент грохнули взрывы. Немцы забросали наши снежные окопы гранатами. Отбились мы от них довольно быстро, поливая темноту автоматными очередями. На утро проверили по следам на снегу: немцы ушли назад, а не в обход нашего укрепленного пункта. Явно волокли что-то - значит были раненые или убитые. Но я потерял двух последних своих курских мужиков. Там и похоронили их в мерзлой земле под снегом.

Весна, лето и осень 1943 года в среднем течении Ловати были полностью "застойным периодом". И это, между прочим, во время Курской битвы! Обжили свои окопы и блиндажи, почти не меняли места. Постреливали, патрулировали вдоль фронта, отбивались от "мессершмиттов", которые почти каждый день угощали нас очередями, гоняясь за повозками, машинами, а то и за отдельными пешими и конными. И за мной однажды гнались - едва уцелел. Возвращались с Дорошевичем верхом из штаба батальона. И вдруг, заходят на нас два "мессера". Дорошевич сзади меня, сразу спрыгнул в кювет. Его лошадь помчалась в поле. А моя понесла с испугу по дороге. "Мессер" зашел с тылу - полоснул очередью, промахнулся: пули легли впереди. Другой, смотрю, заходит. Я пригнулся, кажется, даже зажмурился: что будет - то будет! Но как только затрещал пулемет и засвистели пули, лошадь рванула вбок, оступилась, я вылетел из седла, а она понеслась к лесу. Оба "мессера" сделали над нами "контрольный" облет и ушли. Долго мы с Дорошевичем ловили своих коней. У моего было прострелено ухо. А сам я отделался легким вывихом щиколотки и ушибом плеча.

А в общем-то значительных для меня боевых эпизодов за этот период 1943 года в памяти не сохранилось. Копаясь в бумажках, сбереженных от тех времен, обнаружил маленький блокнот с записями, относящимися к марту-сентябрю 43-го. Часть страниц, мелко исписанных чернильным карандашом, стерлась настолько, что разобрать уже ничего невозможно. Но многое

поддается прочтению или "реконструкции". Кое-что попробую воспроизвести.

Судя по всему, боевая служба не очень обременяла. Свободного времени было вдоволь. В блокнотике - рассуждения о ходе войны вообще, ругань по поводу англо-американских союзников и второго фронта, которого нет и нет, о бессмысленности (с моей "стратегической" колокольни) крупных наступательных операций в этом году.

24 августа в деревне Веряско, куда моя рота была перемещена в резерв, я размышлял о войне под впечатлением разгрома немцев на юге. Деревни, которую я помнил еще целой по лыжным переходам 1942 года, уже не было как таковой: воронки, обгорелые фундаменты изб, бурьян выше человеческого роста, редкие сгоревшие деревья.

"Вчера взят Харьков,- записал я. - Пятый день идут бои под Старой Руссой, значительно правее от меня. Сильно бомбит наша авиация. "Мессеров" почти не видно. Фрицев наши бомбежки, наверно, "трогают" сильнее, чем ихние - нас как раз в этих местах (Кулаково, Заробье, Лука, Ляховичи, Веряско). В нас жила уверенность, что и "на нашей улице будет праздник", обоснованная, между прочим, тем, что не имей они авиации такой силы, мы бы их и тогда били.

...Меня поражают результаты нашей промышленности, работающей для фронта. Суметь возродить к жизни эвакуированное, построить за такой срок новое и добиться превосходства над немцами в основном вооружении, имея позади такие ни с чем не соизмеримые потери в людях, индустриальных и с.-х. ресурсах, - это поистине достойно удивления. В этом заслуга, прежде всего, правительства, Сталина, а отнюдь не народа, как и то, что мы вообще выстояли в 41 и 42 годах... Народ был в панике, народ готов был пасть перед немцами, отдаться им, полагаясь на авось..."

Вот такое умозаключение уже вроде оформившегося антисталиниста. Это свидетельство лейтенанта с передовой лета 1943 года, наверное, стоит зафиксировать для историков.

"Кажется, у Клаузевица когда-то вычитал: импульсом военной доблести является лишь жажда чести и славы. К таким категориям, чувствам, как любовь к Отечеству, месть, воодушевление и т. п. он относился иронически. В общем согласен, но к импульсам надо отнести и мужество, а

оно связано с чувством собственного достоинства. Словом, только субъективные чувства могут противостоять страху смерти и животному инстинкту самосохранения. А что может быть "объективнее", чем, например, любовь к Отечеству, когда речь идет о жизни или смерти.

Русский же человек по природе слишком преисполнен здравого смысла, чтобы ставить на карту свою жизнь ради "чести и славы". Он слишком сермяжно умен, чтобы не разглядеть в этих понятиях лицемерия и побрякушек "цивилизации". В этом смысле - см. "Войну и мир" Льва Николаевича. Другое дело, что русский человек ничего не может противопоставить этой "нищете" цивилизованных импульсов и часто опускается в поисках "более высокого", чем они...

Однако "жажда чести и славы" при всем том, что это субъективный импульс - категория социальная. Следовательно, прививается и воспитанием. Природного предрасположения и определенного уровня образованности тут недостаточно. Нужна среда, дух соревнования, направленный по этому пути, каста, накладывающая цепи на побуждения личности, делающая эту "жажду" обязательной. В данном случае - офицерство.

Она традиционно предполагает определенные качества, которых у большинства наших командиров нет. И дело не только в том, что они сморкаются через персты и не умеют грамотно писать, фамильярничают с подчиненными, позволяя им похлопывать себя по плечу. Дело и в существе их "профессии".

Сомневаюсь, что погоны и понятие "офицерский корпус" что-то изменят по существу. Во всяком случае, за два года войны я сталкивался с командирами, которые по большей части вызывали чувство стыда, позора или жалости. В критические моменты забывали не только о воинской чести, но о простом человеческом достоинстве. Причем, чаще такие встречались среди политработников, которым, казалось, особенно пристало руководствоваться "объективными импульсами" (Родина, идейность коммуниста, партийный долг и т.п.)"

Много места занимают в дневниковых набросках "переживания" по поводу моих стычек с новым комиссаром батальона майором Скичко¹¹.

¹¹ С конца 1942 года эта должность уже называлась не "комиссар", а зам.командира по политической части, и права уже не те.

Оратор - он был отменный. Произносил зажигательные речи в примитивно-лозунговой стилистике тех времен. Но тогда, когда на КП батальона собирали солдат. На передовых наших опорных пунктах он не появлялся - во всяком случае ни у меня, ни у Кольки его не видели. Феноменальный бабник. Говорили, доставал где-то девок (в медсанбатах поблизости, в передвижных прачечных, среди связисток на базах аэродромного обеспечения), затаскивал к себе в землянку, иногда на целую ночь, и выставлял часового - чтобы "не беспокоили!"

Видно, я ему не понравился с самого начала. И стал придирается: то - "безобразия", что мои бойцы не знают приказа N 95 о присвоении Сталину звания маршала, то "из рук вон", что с ними не проведена беседа о зверствах немцев в Ростове-на-Дону. Потом он мне передал "письмо" (странная форма общения комиссара с комроты!), - в резких выражениях упрекал в низком уровне политработы среди бойцов. В этом письме был и вопрос: почему у меня не создан кружок по изучению "Краткого курса истории ВКП(б)". Это на передовой-то, когда солдаты сутки в окопе, сутки - отсыпаясь в блиндаже! Я завелся, говорил об этом с начштаба Толмачевым. Он порекомендовал послать "комиссара" подальше, но "в уме". Сказал мне, что комбат знает об этом письме и посмеивается - "дурацкие, говорит, игры в нашем положении, от нечего делать".

Я же, последовав совету Владимира Александровича "в уме", тем не менее исписал страницы блокнота рассуждениями. Кое-что процитирую: "Пока ты молод, выработай в себе умение делать глупости с серьезным видом - и тогда ты непобедим, никогда не принимай ничего всерьез - все на свете пыль кроме собственного спокойствия". Это я откуда-то выписал. А далее - мое: "Война - это величайшая глупость с точки зрения общечеловеческой. Почему? Потому что глупость - это зло... А что больше всего приносит зла, как не война?... Война предполагает армию. Это $2*2=4$. Ergo¹²: круглый идиот тот, кто хочет найти в созданном для глупости что-то умное и осмысленное. В нашей же армии очень много глупых людей - и поэтому там нехватает той (немецкой!) глупости, которая стала необходима для порядка в любой армии и на которой зиждется воинская дисциплина. Крайности тут не помогут: расстрел у нас очень дешево ценится.

¹² Следовательно (лат).

...Глупость армейского образца, действующая автоматически, по уставу, заменяет отсутствие нормального ума. Вот пример: тронулась Ловать, ледоход исключает любую переправу. Но никто из начальства не подумал, что отрезается всякая связь наших передовых позиций даже со штабом батальона, не говоря уже о других тылах снабжения и поддержки. Если немец, воспользовавшись ледоходом, двинет на наши разреженные ротные опорные пункты, - нам крышка".

Рассуждал я и о том (судя по датировке записи тоже под воздействием письма Скичко), что никакая, даже серьезная "воспитательная работа" на фронте не создаст "сознательно стойкого бойца". Почему? Отвечал себе:

- Потому что подавляющее большинство бойцов неграмотны или малограмотны. У них совершенно не развиты "социальные понятия": Родина, национальная культура, государственная независимость и т. д.

- Большой процент в частях азиатских нацменьшинств, культурный уровень которых еще ниже (если вообще можно говорить о каком-то "уровне"). Кроме того эта война для них - чужое дело, они в армию загнаны насильно.

Следовательно, в боеспособности войска рассчитывать приходится: а) на природные черты характера главным образом русского человека (плюс белоруссы, грузины, армяне, казанские татары, но всех их - очень немного); б) на искусство командующих и отвагу, и самопожертвование лейтенантов.

У нас печально получилось. В начале войны в армию влился прекрасный человеческий материал: студенчество, городская рабочая молодежь, кадровые рабочие, молодые грамотные колхозники. Но тогда мы не умели воевать, и большинство того "первого призыва" бездарно выбито. Теперь более или менее научились, но воевать приходится, как правило, "пушечным мясом".

6 мая "пришла", наконец, погуляв по инстанциям высших штабов медаль, которой я был награжден за сентябрьские бои 1942 года. 8 мая пришел приказ о присвоении мне звания "гвардии старший лейтенант". По этому случаю был в штабе батальона, комбат Глинкин вдруг захотел проехаться со мной до того пункта на Ловати, где мне, спешившись, предстояло переправляться на свое КП в напрочь разрушенной деревне Климово. То ли ему размяться захотелось, то ли решил почувствовать

поближе передовую ("передок", как мы называли). Если последнее, немцы его "удовлетворили". Ехали рысью вдоль берега, наши двое связных вежливо поотстали. На той стороне реки лес перемежался прогалинами. И, наверное, когда оказались напротив одной из них, немецкие наблюдатели нас засекли. Над нами одна за другой стала рваться шрапнель. Дальше - мое впечатление от этого эпизода, зафиксированное в блокнотике вечером 8 мая.

"Удивительное чувство робости во мне. За два года войны оно ничуть не поколебалось. Я робок. И я - именно здесь, на войне - начинаю понимать разницу между смелостью и храбростью. Смелости во мне - ни на грош. Но я храбр. (Странно звучит!) И когда случалось ходить под обстрелом, то больше боялся, что мое поведение сочтут за браваду. Впрочем, может, это - тщеславие?.. Даже в серьезные моменты жизни мы продолжаем думать о вещах вздорных, просто не перестаем быть мелочными.

Только что мы с майором попали под шрапнель немцев. Он яростно хлестал коня и как-то жалко и неприлично съеживался в седле, когда с воем приближался очередной снаряд. Я сразу отстал от майора намного. Не потому, что мне доставляло удовольствие быть под огнем (фугасы, которые чередовались со шрапнелью, рвались и в реке и вдоль дороги на 100-150 метров от меня), - просто моя кляча отказывалась скакать... Да и всадник я не в пример комбату! Но я оставался совершенно спокоен. И единственно, что меня в тот момент занимало - это насмешливое чувство превосходства над начальством".

Помимо немцев поблизости, мучительно присутствовала проблема женщины, которая была увы, далеко. Я разряжался в письмах и давал волю карандашу в вышеупомянутом блокнотике. В тысячный раз "переживал" свою последнюю любовь. Вот запись 20 мая: "...И самое умное, чего достиг человек - это умение любить женщину, поклоняться ее красоте; от любви к женщине родилось все прекрасное на земле. Это сказал, кажется, Горький, а до и после него еще сотни умных людей...

Я выдумал Любу... Ну а почему бы и не сделать этого, если благодаря этому жизнь моя - или хоть воспоминания о жизни - стали краше в 1000 раз?!

...Богатая фантазия - зыбкий фундамент для любви, черпающий силу в изяществе, элегантности, аристократизме, блеске... Но для меня - без этого, без внешней красоты нет любви".

Упражнялся на женскую тему в письмах к школьным подругам и друзьям, в переписке с Варламовым, КП которого находилось от меня километрах в десяти.

Вот одна из его "записок", очень характерная и для моего состояния "между смертью и женщиной".

"Настроенице!... Взбудоражен каждый атом. Не человек, а мина натяжного действия со вставленным капсюлем-детонатором... Я подъехал к развилке, Толька! Эй, регулировщик!

Им должна быть "она". Таинственная, неизвестная "она"? Нет, это не Незнакомка, не Прекрасная Дама. "Она" мне знакома до мелочей... Ее я узнал бы в темноте, по голосу. Слепой, я бы увидел наощупь... Ее присутствие я бы обнаружил по дыханию.

"Она" - это посланница Судьбы, может, сама Судьба. И я ее никогда не увижу.

Но я на развилке. Мне нужен регулировщик... Согласен на суррогат, на эрзац.

Колька. 27.3.43. 20-00."

Впрочем теми на фронте, кто не был обременен "возвышенными воздыханиями" на женскую тему, проблема решалась не только по методу комиссара Скичко, но еще более естественным образом, когда представлялся случай.

Из своего дневника я извлек описание одного такого случая. Находясь в резерве, то есть километрах в десяти от передовой, мы оказались рядом с шалашами, сооруженными в соседнем поле деревенскими девчатами, пригнанными убирать посеянную в прошлом году рожь. И вот, среди бела дня солдаты ловили этих девок и тут же, на виду у всех, распинали. Кто поскромнее тащил добычу к ближайшим кустам. Один младший лейтенант выволок свою избранницу из шалаша, тут же разложил, заломив ей руки. Девка была, видно на этот раз, не в духе: завопила. Из других шалашей выскочили девчата. Картина: мл. лейтенант на ней, торопливо продолжает телодвижения, не обращая внимания на то, что на него верхом вскочила подруга его жертвы и колотит его по спине и по голове кулаками, кричит: "Кобел! Слезь! Что делаешь?! Отпусти". И приговаривала: "Прости, господи, меня, душу грешную". Другая девчонка, крича и ругаясь, тащила его за ноги.

Продолжалась эта сцена до тех пор, пока не сбежалась солдатня. И под гогот мужиков мл. лейтенант бросился бежать, поддерживая штаны.

Но были сцены и совсем другого рода. Лейтенант, москвич, из только что перед войной окончивших школу, увлекся всерьез одной из жниц, действительно красивой. Когда он, держа ее за обе руки, уверял в своих чувствах, она смотрела на него дикими глазами. А когда он попытался легко обнять ее за плечи, она тут же растянулась на траве, раздвинув ноги. Он прилег рядом, целовал ей руки, лицо, но юбку задрать не осмелился. Так ничем и не кончилось. Она потом плакала, говорила, что он ее обманул, "надсмеялся над ней". А девице всего шестнадцать лет!

О tempora! О mores!¹³ - заключил я описание этих картинок в своем блокнотике. А ведь это - просто жизнь, изуродованная войной.

В дневнике много рассуждений на "отвлеченные темы". Они любопытны тем, что записаны в блиндаже в полукилометре от немцев, когда, впрочем, война на нашем участке будто остановилась, но "психически", своим присутствием рядом, давила на мозги, на нервы.

"Война породила во мне очень простое и в то же время глубокое убеждение: жизнь человеческая гроша ломаного не стоит. К этому выводу должен прийти каждый более или менее склонный размышлять. Из этого убеждения вытекает принцип: должно быть беспощадным эгоистом. Весь вопрос сводится к тому, насколько человек в состоянии выдержать эту линию беспощадного эгоизма, не выходя из рамок принятого и приличного в своей среде, насколько он сможет обойти или обмануть превратившееся в социально-нравственный закон, часто не осознаваемое лицемерие общества, именуемое гражданскими добродетелями".

"Почти два года я не слушал музыку. Почему меня так тянет к ней? Кто-то сказал, что музыка притупляет мысль. Недаром же значительной частью христианского культа является музыка и какая!

Да зачем далеко ходить? Для чего, например, солдат в казарме заставляют петь - петь, когда он идет на занятия, петь на отдыхе, петь, когда его строем ведут на прогулку - всюду? - Чтобы солдат не думал. Грубо - но верно.

¹³ *О времена! О нравы! (лат).*

Но все-таки я о другом. Мне хочется сейчас заглушить в себе все. Заснуть... но "не холодным сном могилы". Это дала бы музыка... И так нестерпимо хочется ее. Особенно - фортепьянной: каждый удар по клавишам - удар по нервам. И так рождается "нервная гармония", не оставляя места ни для чего другого. Все заполняется "прекрасным". Опиум и музыка, наверно, сродни друг другу. Разница - в средствах воздействия на организм..."

По поводу приказа Сталина о 26-й годовщине Красной Армии: "Подыскивал эпитет для этой организованной человеческой силы, государства, которой "дышит" этот текст и в которой судьбы маленьких наших жизней - лишь паутинки, трепещущие и едва выдерживающие свою собственную тяжесть. И нашел - Левиафан (по Гоббсу).

Действительно, мы настолько малы и ничтожны, что даже не ощущаем, как это "чудовище" шагает по нашим судьбам и подминает наши жизни, создавая свою величественную славу и мощь. И наши жертвы, которые мы, конечно, понимаем и чувствуем, кажутся бессмысленными каждая по себе и ненужными".

"Мысли - большие, существенные - случайны и скоротечны. Их не успеваешь обдумывать вполне и отлить в определенную (словесную) форму. И они вытесняются обыденностью, остаются незаконченными. И потом забываются.

Как жаль, что люди не научились выражать мысли графически, как, скажем, музыку нотами. Живопись слишком слабое средство для этого. Она обременена чувствами, "фактами" и не отражает "чистые" мысли. Попробовали футуристы, абстракционисты. Но метод оказался не эффективен, слишком заумен, зашифрован.

Я думаю о таком способе выражения мыслей - самых тонких, самых глубоких, душевных движений самых смутных, - который бы зеркально точно и ясно их отражал. Наверно - по аналогии с математикой - найден будет этот способ, наверно, все-таки через графику (своеобразные ноты)".

Впрочем, я тут же себя окоротил, дописав: "Подобное желание может прийти в голову человеку или слишком проникновенно думающему, что ему нехватает привычных известных средств выражения мыслей, или человеку,

просто не владеющему этими средствами в достаточной мере - языком, может быть, многими языками!"

Осенью, в ноябре 43-го, комбат Глинкин предложил нам с Николаем поехать на курсы переподготовки офицерского состава в Вышний Волочек. Мы немножко поколебались, однако соблазн хоть на время оторваться от ежедневной опасности отправиться на тот свет возобладал. Во всяком случае, не соображениями военной карьеры мы руководствовались.

Наше путешествие в тыл заслуживает специального описания. После двухлетнего отрыва от "быта" нас поражали даже мелочи. В первую же ночь, оказавшись в Осташкове в поисках, где бы приткнуться, толкнулись в пассажирский вагон, одиноко стоявший на запасных путях недалеко от вокзала. Оказалось, это общежитие фронтовой прачечной или что-то в этом роде. Перегородки внутри вагона отсутствовали - он представлял собой огромную продолговатую комнату, всю заставленную койками. Горел электрический свет. И произошло нечто невообразимое. Десятки девок, увидев нас, сбросили одеяла и полуголые бросились нас раздевать. Мы пробовали отшучиваться, отбивались, под визг и многообещающие соленые реплики, но дело принимало явно нешуточный оборот. И неизвестно, чем бы кончилось, если бы какой-то их начальник со старшинскими погонами не появился в дверях, гаркнул на девок и грубо (двум старшим лейтенантам!) скомандовал: "Марш отсюда!"

Коротали ночь в каком-то единственно оставшемся от вокзальных построек кирпичном пакгаузе, забитом бабами, детьми, узлами, - ждали утреннего поезда. Впервые за войну я соприкоснулся вплотную с ужасами тылового разорения, жуткой голодной нищетой. Осталось также странное, впервые испытанное ощущение духоты в холодном помещении.

Через два дня добрались мы до Вышнего Волочка. В казарме, в "зале ожидания" для вновь поступивших, где мы расположились на столах спать, нас ограбили: из-под голов вытащили офицерские сумки. Потом узнали, что воровство личного и казарменного имущества на этих курсах - заурядное явление. Тащили все, что можно было обменять у жителей на еду... Еще один удар по иллюзиям насчет воссоздания (с помощью погон и т.п.) "офицерского корпуса". Кормили действительно впроголодь. После пайков

на передовой разницу мы почувствовали остро - не говоря уже о том, что большая часть продуктов попадала не на кухню в котлы, а на городской базар.

Полное разочарование принесла система обучения. О возрождении офицерских традиций при такой системе нечего было и думать. Будто не шел уже третий год войны, будто она ничему не научила и не дала никакого реального (горького!) опыта, будто казарменные догмы подготовки к давно прошедшей войне (в данном случае - гражданской 1918-21 годов) полностью оправдали себя в нынешней войне. Поразило и то, что преподаватели - капитаны, майоры, подполковники - никто не участвовал в боях, никогда не был на передовой (кроме одного, очень милого и мудрого, списанного по ранению подполковника, преподававшего саперное дело). Удивило меня, что среди нескольких сотен слушателей только я и Николай были с боевой медалью, да еще один старший лейтенант - с орденом Александра Невского (полученного, впрочем, как позже узнали, не на передовой, а за успешные действия на каких-то тыловых учениях).

Ничего нового по части "теоретических" и технических военных знаний, по сравнению с университетом и горьковской Марьиной Рощей, я не приобрел. С точки зрения освоения практического опыта войны - тем более. Три месяца, проведенные в казармах Вышнего Волочка, пропали в этом смысле даром. На этом фоне, и особенно для тех, кто два года провел на передовой, где казарменные отношения между людьми были бы просто губительны, представлялась совершенно дикой, бессмысленной и отвратительной жестокая, солдафонская дисциплина, царившая на курсах.

Имело место одно "романтическое" происшествие. Однажды, уже после занятий, вызывает меня дежурный, говорит: в проходной вас ждет какая-то девушка, вроде бы из Москвы. Крайне удивленный, я спустился к воротам и увидел... Нинку Гегечкори. Только такой взбалмошной натуре могло прийти в голову нечто подобное. И как она прорвалась в прифронтовую зону? Ведь родители - "враги народа", сама в тюрьме побывала, в Москве - на птичьих правах... Ладно бы, если бы была у нас "беззаветная любовь", какие-то тайные надежды или что-то в этом роде. Но ничего кроме школьной дружбы между нами не было! Объяснение одно: я для нее - герой и она не могла не засвидетельствовать свой восторг по этому поводу, поскольку никто другой,

меня знавший, на это не способен. Примерно в этом духе она мне и объясняла свое появление.

Я попросил увольнительную на несколько часов. Она привела меня в какой-то дом, где загодя договорилась с хозяйкой. Что-то, кажется, ели за столом... И говорили, говорили. Хозяйка спустя два часа "с пониманием" взбила подушки на высокой кровати и удалилась, сказав что посидит у соседки. Для нормальной "тыловой" женщины - финал нашей встречи был совершенно очевиден и естественен. Но - не для Нинки. Я принял сигнал хозяйки и робко пытался его реализовать. Но Нинка - ни в какую: "Не за тем приехала!" Я был смущен и сник. Она - оскорблена в лучших своих чувствах и явно "разочаровалась" во мне. Уныло проводил ее на станцию, с трудом втиснул в вагон. До сих пор - какое-то смешное и вместе с тем неприятное чувство, когда вспоминаю об этом эпизоде.

Примерно недели через три после того, как мы с Николаем появились на вышневолоцких курсах, пришлось нам расстаться. Произошло это так. В военном городке заметили капитана, который очень отличался от слушателей. В кожаном пальто, в фуражке явно не фронтового образца, самоуверенный и надменный. Обычно его сопровождал начальник училища полковник Ивашкин. Ходил он за капитаном, на шаг отставая и почти не отрывая руку от козырька. Впрочем при его грузности и рыхлости руку у фуражки ему было держать трудно, она то и дело опускалась примерно до мочки уха. Смотреть на его подобострастную комичную фигуру, поспешавшую мелкими шажками, было смешно и противно. Однако из этого следовало, что капитан - большая шишка. Он был из "СМЕРШ" - отдела контрразведки, из самой Москвы. Скоро узнали, зачем он пожаловал - приехал отбирать кадры для своего ведомства.

Наступил день, когда весь личный состав курсов был выстроен на плацу. Гаркнули в ответ на приветствие Ивашкина. И капитан, сопровождаемый полковником, преисполненным "готовности" отвечать на любые вопросы, в том числе и за стоящих в строю, медленно двинулся вдоль шеренги слушателей. Пронзительно вглядывался в каждого (так казалось! Еще бы - за ним ведь страшная, беспощадная тайна!). У некоторых спрашивал фамилию, но не всегда давал знак лейтенанту (видно, помощнику) - делать в блокноте пометки против названной фамилии.

Процедура была ясна: он изучил личные дела, составил список подходящих по анкете и, если понравившийся внешний вид совпадал с отобранным, ставилась галочка. На другой день помеченных стали вызывать на собеседование. Вызван был и я. Разговор был краткий, в основном биографического свойства из довоенного времени. Он больше всматривался, чем слушал меня. Результат был таков: отобрал человек тридцать, включая Кольку, меня - нет. Чему я был несказанно рад, потому что отказаться было бы невозможно. И уехал мой друг из Вышнего Волочка. Встретились мы с ним разок, случайно, уже в Латвии, в июле 1944 года. Он стал оперуполномоченным "СМЕРШ" 161 с. п. 53 гв.с. д. В блокнотике есть отметка о нашей встрече - он мне тогда не понравился. Мне показалось, что служба в "органах" плохо на него влияет. "Человеческий подход к людям заступил место "следственному", - записал я тогда. - Боюсь, что его талант и богатые душевные (?) силы стали орудием на службе организации, в которой он оказался..." Я тогда был уже капитаном, он остался старшим лейтенантом.

В феврале состоялся выпуск отбывших положенный срок слушателей. Я был аттестован на адъютанта-старшего (то есть начальника штаба) стрелкового батальона. Поскольку в учебе я отличился (немудрено - столичный студент, а большинство - с неполным средним образованием), мне предлагали остаться на курсах командиром офицерской роты или преподавателем. Естественно, отказался. В этом случае отказ был "позволителен". По этому поводу я тогда записал в своем блокнотике:

"Нравственен ли я в своем общественном самоутверждении? Скажем, я искренне сейчас хочу вернуться на фронт и воевать, тогда как мне предоставлена возможность остаться служить здесь, на курсах, возможно, до окончания войны. Но и здесь я нравственен не сам по себе, а для того, чтобы, если вернусь в мирную жизнь после войны, выставлять себя в хорошем свете перед людьми, которые видели во мне "воплощение благородства и чести"... И это несмотря на то, что я вроде бы уже достаточно повоевал..."

Совсем другое - нравственность твоя собственная, которой сам ты, только один ты - судья, нравственность, как сказал бы Феликс Зигель, субстанциальная. И здесь - грешен! Ее нельзя ничем заменить. И отсутствие ее или изъясн в ней нельзя оправдать тем, что другим вокруг тебя на "эти предметы" просто наплевать.

...Нравственность предполагает известную ступень духовного развития. Я говорю об осознанной нравственности, которая через мысль воплотилась в принципах и влилась в чувства через убеждения. А не о тех началах ее, что проистекают из инстинкта социального самосохранения и которые оформились опять же силою народных подспудных инстинктов в христианскую мораль в начале нашей эры.

Дальнейшая ступень развития нравственности - Шекспир, нащупавший и гениально воплотивший то новое, что было выпестовано ею в течение 16-ти веков, именно - совесть. Шекспир "изобрел" совесть...

Каждый дорожит государством и его принципами, иногда даже идет на жертвы ради него, потому что думает, будто оно дорого другим. Но почему же они - он и другие - не могут согласиться в том, что государство - пыль? Потому что чувствуют себя слишком слабыми как личность, как единица. В этом, между прочим, сила человечества и слабость человека. Государство поэтому должно было стать фетишем".

О своих мытарствах по пути на фронт я основательно забыл. Когда приходилось кому-то рассказывать про "свою войну", эти недели совсем выпали из памяти. Но покопавшись в своих записях, я о них вспомнил. Это был сплошной ужас. От Вышнего Волочка до станции Дно через Великие Луки по вдрызг разбитой железной дороге с остановками в несколько суток, на открытой платформе, в тамбурах, на подножке вагона, в товарняках, забитых доверху сеном, мешками, ящиками - так, что находиться там можно было только лежа. Через сожженные деревни, в которых два-три полуразрушенных дома, а остальное - землянки. Великие Луки, Новосокольники, где пришлось прозябать три дня, разрушены подчистую, люди ютятся в каких-то песчаных пещерах...

Дело в том, что фронт в это время тронулся. Немцы быстро отходили. И два вала - отступавших и наступавших - как два мощных "катка" сравнивали все на своем пути.

К моему величайшему несчастью, именно в это время меня начали бить приступы астмы. Голодный, замерзающий по ночам, часто без крыши над головой, задыхающийся до потемнения в глазах, я был в полном отчаянии и уже думал, что пришел мне вот так совсем бесславный конец. Заходил в госпитали, если они оказывались по пути, делали мне какие-то уколы, в

одном даже предложили лечь. Я отказался - стеснялся. Прошу поверить - не хотел, чтобы подумали, что симулирую, что боюсь возвращения на войну... Наша медицина (да еще полевая) была совсем незнакома с бронхиальной астмой - экзотической тогда болезнью. А если кто из докторов и угадывал диагноз, беспомощен был что-то сделать.

С момента возвращения в действующую армию, в новую для себя часть, я не вел никаких записок. Видно, было не до того. Возобновил пометки в новом блокнотике лишь осенью 1944 года, после взятия Риги. И особенно активно занимался сочинительством, попав в начале января 45-го в госпиталь. Поэтому переход моего полка с редкими боями через границу России, Южную Эстонию и Латвию вплоть до Курляндии, где немцы нас остановили до конца войны, воспроизвожу по памяти.

С курсов меня направили обратно, в свою армию, 1-ю Ударную. Несмотря на свое название, она, кажется, так нигде особенно и не отличилась - ни под Москвой, ни на Северо-Западном фронте, ни в Прибалтике, где перебрасываемая со 2-го Прибалтийского фронта на 3-й и обратно, оказалась на довольно вялом участке наступления.

Впрочем... Когда читаешь написанную спустя десять-пятнадцать лет историю Отечественной войны, рассматриваешь карты боевых действий, испещренные красными стрелами "сталинских ударов" 1944 года, невольно (хотя и не без скепсиса, зная подноготную) проникаешься ощущением мощи и значительности событий. Но когда начинаешь вытягивать из памяти, как это происходило с тобой в "той гуще" тех самых событий, они такими не получаются. Разница - между "окопной" и "исторической" правдой войны, между фронтовой картой стокилометровой и полковой-батальонной картой масштабом 2,5 км в одном сантиметре.

К моменту наступления Красной Армии по всему советско-германскому фронту у немцев - теперь это известно - был тщательно разработанный план ухода из Прибалтики. И они в общем его осуществили без больших потерь, оказывая яростное сопротивление только в тех пунктах и в тех случаях, когда общему плану их отступления грозил срыв. В других местах они планомерно оставляли один рубеж за другим.

Сроки отхода диктовались, скорее всего, мощным прорывом черняховского и баграмяновского фронтов на Мемель и Елгаву, грозившего

выходом к Рижскому заливу западнее Риги. Это отрезало бы всей немецкой группировке путь отхода из Эстонии и Латвии вдоль побережья.

1-я Ударная Армия, перейдя летом из России в Эстонию в районе города Остров, двигалась в валгинском направлении. Городок этот - пограничный между Эстонией и Латвией, разделяет его речушка. С одной стороны, латвийской, он называется Валка, с другой - эстонской - Валга. Наш полк участвовал в его взятии.

Это, пожалуй, был первый мой значительный бой в качестве батальонного адъютанта-старшего... "в масштабе двухсполовинокилометровой" полевой карты.

Местность болотистая, с мелким лесом, ранняя осенняя распутица, солнце проглядывает, но часто затягивается темными дождевыми облаками, моросит. В батальоне чуть больше ста бойцов (не считая тыловиков), две сорокопятки, которых пускать в дело невозможно - по болоту не потянешь, а на единственной мощеной дороге с севера к Валге их сразу снесут, минометный взвод - четыре миномета. Обещана поддержка штурмовиками "Ил-2". Они действительно волна за волной мощно крушили немецкий передний край ракетами и из пушек. (Вообще наше превосходство в авиации сыграло огромную роль при продвижении по Прибалтике. Но это продолжалось только до взятия Риги - потом большая часть самолетов была переброшена на "более важные" фронты.)

Рассредоточившись по обеим сторонам дороги, батальон двинулся к городу. Замкомбата ¹⁴ - на правом фланге, рядом и в контакте с "соседом". Я со штабными и связными от рот - в центре по обочине дороги. Уже видны были горящие дома. Артиллерия работала слабо. Обогнали меня два танка и первый, проскочив вперед метров на пятьдесят, наскочил на фугас. Взрыв был такой силы, что у танка сорвало башню. Второй встал и начал спускаться с дороги, но по болоту идти наверно не решился, начал стрелять по городу.

Ружейно-пулеметная стрельба нарастала. Но со стороны немцев, на нашем участке, мне она не показалась слишком опасной. Солдаты батальона вскоре добрались до первых домов. А в самом городе бой быстро стал

¹⁴Вскоре он погиб. Я был у него в землянке накануне вечером, договаривались о распределении ролей в предстоявшей атаке вместе со штрафной ротой, которая должна была действовать слева. А утром сообщили, что в землянку - прямое попадание снаряда, и все, кто там был - убиты.

затихать. Видно, немцы заранее были готовы его сдать, поскольку фронт и справа и слева уже далеко продвинулся в сторону Риги.

Полк, 305-й стрелковый Краснознаменный, получил наименование Валгинского.

Марш к Риге был сначала довольно быстрым, по двенадцать-пятнадцать километров в сутки. Запомнились два эпизода этих дней, перед очередным прорывом к Риге. Первый связан с упомянутой штрафной ротой. Пробирался я туда со связным по открытому месту, хорошо просматриваемому. И били явно по нам, залегать пришлось в грязь несколько раз. А в блиндаже комроты меня ждала неожиданность. Им оказался бывший комвзвода 203-го лыжного батальона младший лейтенант (теперь он стал старшим лейтенантом). Фамилию его тоже забыл. Небольшой, толстоватенький, веселый, симпатичный. "Ты как сюда попал?" - спрашиваю его. "Вот так, - говорит,- предложили, пообещали лишнюю звездочку, оклад в два раза выше. А воевать-то все равно где". "А как ты со штрафниками-то?" "Как?... Нормально, такие же солдаты, может, и похрабрее - ведь до первой крови! У меня во всяком случае скандалов не было, до пистолета дело не доходило".

Во время прорыва этого рубежа штрафники понесли больше потерь, чем наш батальон. Правда, они пошли хотя и уступом от нас, но несколько впереди. Им меньше повезло.

Другой эпизод веселый. На одном из рубежей нас с немцами разделяла одноколейная железная дорога. На полотне, как раз против батальона, остались две цистерны. Что в них - неизвестно. "Разведка доложила точно" - не нефть, не бензин, не цемент, скорее всего - спирт. Я сделал вид, что меня это не касается. Тогда вступила в свои права самодеятельность. Дали хорошую пулеметную очередь по одной цистерне. В бинокль было видно, как из нее брызнули струйки. Солдаты, захватив котелки и, не обращая внимания на стрельбу с немецкой стороны, поползли к полотну. Вернулись с котелками, наполненными землей. С помощью каких-то манипуляций - вроде процеживали через несколько слоев бинта - добывали мутную жидкость. Вполне приемлемый получался самогон. Пили. И сам я попробовал - отличное настроение возникало. Так, каждый день, пока здесь стояли,

солдаты разживались пойлом, не уступавшем водке. К тому же - развлечение: кто смел, тот имел.

Пропагандистские упражнения тогда и позже о штурме столицы Латвии - более, чем преувеличение. Немцы ее отдали без боя, если не считать удара, кажется, 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта с юга, вдоль левого берега Западной Двины, решившего все дело. Немцы выполнили свою задачу - вывели группировку "Север" вдоль побережья Рижского залива в Курляндию, и сражаться за Ригу у них не было ни сил, ни надобности.

В город (его восточную часть, по правому берегу Западной Двины) мы - во всяком случае, наш полк, - вошли утром 13 октября, не встретив никакого сопротивления на улицах. Город казался вымершим, разрушения не бросались в глаза. Редкие прохожие жались к подъездам, с явным страхом провожая нас взглядами. Никаких торжеств, объятий, приветствий освободителей (позже это появилось на фотографиях) я за три дня пребывания в Риге не заметил. Мосты через реку немцы взорвали, с того берега постреливали по городу из пушек, но не плотно, немассированно.

То, как нас встретила Рига, не было неожиданностью. Не одну сотню километров наш батальон прошел по Эстонии и Латвии. И реакция населения на освобождение от немцев была такой же. Деревень, как известно, в российском смысле там нет. Проходили по хуторам и мызам. В большинстве случаев они оставались целы, если возле именно этого хутора не было боя. Поселки, тоже обычно очень небольшие, пострадали значительно. Но того сплошного пожара и разорения, как на русской земле, не помню (если не считать Елгавы [Митава], через которую проехал в марте 1945-го, возвращаясь в дивизию из госпиталя). Некоторые богатые мызы, целые имения, брошены были в целости со всей мебелью и утварью - будто хозяева отлучились на несколько часов в гости или по делам.

Не помню особых контактов с жителями. Если не считать нескольких курьезных эпизодов. Вот - один. Штаб батальона остановился на богатой мызе. Задержались здесь на сутки-двое. Вдруг вводят ко мне мужчину весьма представительного вида: в твидовом костюме, в бриджах и гольфах, в жилетке с цепочкой поперек, в шляпе тирольского типа. Поздоровался, снял шляпу. Я встал из-за стола. На ломаном русском языке он мне объяснил, что мои солдаты забрали из сарая его мотоцикл и ездят вокруг хутора, не умея

его водить, могут сломать. Просит, чтобы я запретил им это делать. (Грешен, сам прокатился разика два впервые в жизни. По второму разу врезался в куст). Я обещал "прекратить безобразия".

Значит, он таился где-то рядом, решил, что мы здесь осели надолго и пришел проверить хозяйство.

Позже на другом хуторе нечто аналогичное случилось с радиоприемником. Тот хозяин тоже внезапно появился жаловаться. Но на этот раз разбирался комбат. Приемник тоже вернули.

В самой Риге, хотя мы простояли в ее восточной части три дня - до отступления немцев с левого берега Западной Двины, - никакого общения с населением не было. Город тоже казался опустевшим, безлюдным.

При взятии Риги случилась большая беда. Солдаты разгромили спиртоводочный завод и перепились метиловым спиртом. Жертв (ослепших и умерших) было, говорили, больше, чем в боях на подступах к городу. Отправляли их в госпитали, в тыл навалом на грузовиках и подводах, даже видел - на "катюшах". Из моего батальона тоже пострадало несколько человек. Комбат, помню, в ярости велел снести во двор, где был его КП, все, что успели припасти и еще не пригубили, и лично расстреливал бутылки, жбаны и четверти из пистолета. Впрочем, если доза была небольшая и не натошак - обходилось без серьезных последствий.

Совершенно выпало из памяти - где и каким образом мы переправились через Западную Двину, в самом городе (мосты были все взорваны) или выше по течению. Помню только, что без боя. Немцев долбанула соседняя армия к югу от Риги, они быстро-быстро откатились на свой последний, на этот раз очень сильно укрепленный рубеж, по определению Сталина, - "между Тукумсом и Либавой". Не помню, что происходило, пока мы двигались вслед за ними, пока не уперлись в этот рубеж. Но очевидно, что шли по Юрмале, потому что, судя по картам, приложенным к шеститомной "Истории Великой Отечественной войны", маршрут 1-й Ударной армии проходил прямо по побережью Рижского залива.

Остановились мы в Слоке, - конечном к западу поселке Юрмалы. Кемери еще до нас кто-то занял. Через этот знаменитый с царских времен курортный городок мы потом прошли, направляясь на отведенный 305-му

полку участок передовой. Запомнилась странная картина: городок был цел. Огромное, характерное для курортной архитектуры XIX века здание тоже не было разрушено. Но в окнах не было ни одного целого стекла. А битые мелкие осколки толстым слоем окружали этот огромный дом со всех сторон. Обратил я также внимание на то, что поблизости от Кемери в песчаной почве, заросшей сосной, сохранились остатки окопов первой мировой войны.

Слока мне запомнилась одним событием в моей "личной жизни". Незадолго перед вступлением в Ригу я влюбился в Машу. Эта девушка появилась в батальоне еще летом, вместе со своей подругой. Две санитарки. Родом из под Демьянска. Обе хороши. Но Маша тогда показалась самой настоящей сельской классической красавицей. Высокая, длинноногая, с осиной, затянутой ремнем талией, с грудью такой, что медаль на ней не висела, а лежала: и, гляди на Машу хоть сбоку, хоть спереди, медаль все-равно смотрелась только ребром. Милая, простодушная хорошенькая мордашка (и фамилия-то у нее была - Миловидова). Маше было семнадцать лет, но по-женски она была развита не в пример городским сверстницам. Я долго и откровенно ею любовался, подавал знаки "увлеченности" ею, говорил красивые городские слова. Она смущалась, стеснялась, сторонилась. А потом и сама влюбилась - страстно, наивно, безоглядно, как судя по романам и повестям классики, это свойственно "простым деревенским девушкам".

Именно в Слоке нам пришлось расстаться. Происходила переформировка частей (причем не только нашей дивизии). Они уплотнялись и сокращались штатно. В наш полк влили другой, а тот расформировали. И дивизия уже отныне состояла из двух полков.

Маша, видно, приглянулась не только мне. Какой-то полковник ее перевел поближе к себе. Это хорошо, с одной стороны, - гарантировало ей жизнь. Но нас с ней две ночи расставания повергли в полное отчаяние. Все вокруг обратили внимание, что начштаба что-то не того!, потерял себя, не владеет собой, даже перед строем появился без фуражки, "забыв", зачем вышел к солдатам. Причину все знали. Кто посмеивался, кто сочувствовал, кто ернически подбадривал: мол, свет клином не сошелся, будешь жив - еще найдешь.

Прежде чем рассказать о ранении, о госпитале, о мирной уже Риге, о последних "моих" боях в самом конце войны, хочу оставить в этих записках один жуткий эпизод, которому стал свидетелем на марше при подходе к Риге осенью 1944 года. Шагали по мощеной дороге. Полдень, солнце. Навстречу по обочине вели большую - больше сотни - колонну пленных. Сзади послышался грохот танков по мостовой. Батальон по команде сошел с дороги вправо. Четыре тридцатьчетверки поравнялись с нами как раз тогда, когда на противоположной обочине оказалась колонна немцев. И вдруг последний танк резко свернул с шоссе и врезался в эту живую массу. Сколько он намотал на гусеницы, трудно вообразить. Немцы бросились кто куда. Мои бойцы остолбенели от ужаса. Когда танк выполз обратно на дорогу, двое моих, припав на колени, стали палить по нему из автоматов. Танк ушел догонять "боевых товарищей". В батальоне замешательство. Крики, гвалт, месиво. Тем, кто попал под танк, помогать было бессмысленно. Человек десять-пятнадцать он расплющил.

Наряду с этим было много случаев в полку, когда пленных отпускали в тыл без конвоя, иногда - если раненый - подсаживали на повозку или в машину, возвращавшиеся с передовой. Отношение к ним солдат было скорее жалостливое, насмешливое или презрительное. Ненависти они уже теперь не вызывали.

Итак, мы уперлись в немецкую оборону примерно в двадцати километрах юго-восточнее Тукумса.

После Слоки в батальоне появился новый командир, капитан Смирнов. Он мне сразу не понравился. До этого обретался где-то в корпусных тылах. Обзавелся там женой. Ею, главным образом, продолжал заниматься и у нас. Позже, уже в госпитале, я записал в дневнике: "Комбат - долдон, из кадровых, не только не мог что-нибудь самостоятельно сообразить, вовремя и к месту сделать распоряжение, он даже не умел грамотно разобраться в карте. Как ему могли доверить батальон? Я бы ему взвода не дал... Ему бы только почаще видеть жену, побольше поспать, хорошо выпить, а если что-нибудь произойдет или что-то не выполнено, - всеми возможными средствами скрыть..."

Я надеялся, что в бою он окажется способным хотя бы личной храбростью влиять на солдат. Ошибся!"

В ночь на 4 января 1945 года батальон был выдвинут на прикрытие правого фланга "мешка", который образовался после вклинения наших частей в направлении Джукстэ (18-20 км юго-юго восточнее Тукумса).

Задачу комбат получил от комполка засветло. Но плохо запомнил рубеж, который ему был указан, потому что "до того" провожал жену и был пьян. Вызвал командиров рот и плел что-то пьяное и оскорбительное - в роде того, что, если кто "не добьет немцев между Тукумсом и Либавой", он сам лично "от имени Сталина" накажет... Потом он выгнал всех кроме меня, замкомбата и одного ротного, который умело варил самогонку и снабжал комбата. Стал угощать. Я отказался и предложил разведать рубеж без него. Он согласился. Я взял связных от рот и направился искать "наш" рубеж. Не так-то это просто оказалось - по карте, изданной сорок лет назад. Потом вызвал командиров рот, обо всем договорились, в том числе - где будет КП батальона, где расставить "станкачи" и две пушки-сорокопятки.

Вернувшись к рассвету в свою землянку, зажег кабель (вместо коптилки) и стал писать донесение. Утром явился ко мне командир артиллерии поддержки. "Где комбат?" "Вон,- говорю,- в соседней землянке". Вышел, через минуту появился опять, выругался матом и подсел ко мне. Прикинули ситуацию по карте. Потом пошли выбирать позиции и направления огня, поместили танко-опасные участки.

Кое-где земля была покрыта снегом. Мокро, промозгло, глубокая грязь. Окопы в полный рост не выраешь. В землянках-блиндажах можно либо лежать, либо сидеть на земле.

Тем не менее по выходе на рубеж, начали обустриваться, накопали, хотя и мелких, траншей, оборудовали огневые точки. К концу дня немец начал постреливать - снаряды и мины рвались неподалеку, изредка стучали пулеметы.

К обеду мне страшно захотелось спать: почти сутки был на ногах, уже плохо соображал. Впрочем ночь прошла спокойно.

В час дня 5 января по всему нашему фронту заиграли "шарманки" (немецкие десяти и шестиствольные минометы, аналоги наших "катюш"). Было ясно - началась артподготовка. Вскоре вступила в дело артиллерия всех калибров, причем особенно сильно била по нашему соседу справа в районе хутора Пиэнава. Подумал тогда: если там прорвут, то мы окажемся к

противнику перевернутым фронтом, КП батальона будет впереди линии окопов.

Зная, что основные силы нашей артиллерии и танки оттянуты значительно левее нас, для поддержки прорыва на Джукстэ с юга и юго-запада, я понимал, что если немцы пустят танки, дело обернется совсем скверно.

В три часа немцы пошли в атаку и через 30-40 минут захватили Пиэнаву. И началось бегство. Давно, с сентября 1942 года, я не видел такого: группами, в одиночку, редкой цепью бежали, падали, попадая под огонь... Откатывалась пехота, мчались повозки, скакали артиллеристы, волоча орудийные передки и побросав пушки. И все это мимо левого фланга моего батальона. Я позвонил в полк, доложил ситуацию. Ответом было: "С места не сходить, если считаешь нужным - разверни фланг". Сзади моего КП проходила траншея, оставшаяся от немцев. Я быстро развернул одну роту в этой траншее - и линия батальона приобрела форму буквы "Г". Комбат все это время не вылезал из блиндажа.

Прибежал от него связной: "Комбат приказал перенести КП в лес, метров на четыреста от траншеи". Я и сам об этом думал: приказал радистам и телефонисткам свертывать оборудование и переместиться к опушке, указал примерно - где. Обещал минут через пятнадцать прийти к ним. Сам пошел по траншее. И вдруг солдаты мне кричат: "Капитан, смотрите, смотрите!" Оглянулся и увидел: с катушками и ящиком радиопередатчика к лесу бегут связисты, а за ними мелькает черный полушубок комбата с вдвинутыми друг в друга белыми валенками подмышкой. Я опешил. Сделал перед солдатами вид, что "все как надо". А сам подумал: черт с ним! От него толку все равно никакого. Но на лицах людей я увидел напряжение: как же так? В такой момент старший командир бежит от них. Они уже насмотрелись на массовое бегство соседей. Нутром почувствовал: рождается паника, малейший толчок - и тоже побегут. Немцы уже садили по нашим траншеям из пулеметов.

Я вылез из траншеи (которая впрочем все равно была всего лишь по пояс) и пошел вдоль рубежа. Шел медленно, демонстрируя невозмутимость, хотя под ложечкой бился и трепетал "зайчик". Останавливался возле некоторых, спрашивал проверено ли оружие, напоминал сигналы команд. У одного пулеметчика наклонившись вынул из пламягасителя тряпку, которую

тот ее там забыл при чистке пулемета, выругался, поднял тряпку над головой, показал соседним солдатам: кое-кто нервно засмеялся. Весь налился холодной яростью, как в мальчишестве, когда приходилось драться: что иначе себя вести в тот момент было нельзя.

"Товарищ капитан, немцы!" - заорал солдат, показывая пальцем. Оглянулся: метрах в ста от траншеи сквозь кусты и редкие деревца хилого болотного леса перебегала цепь немцев. Спрыгнул в траншею. Дал ракету, траншея разразилась огнем.

Другой солдат обратил мое внимание, что справа группа немцев заходит в тыл батальону, - там, где лес близко подступал к тыльной стороне нашей траншеи. Там пушка и один "максим". Они почему-то молчали. Подбежал к ближайшему пулеметчику и велел отсекал эту группу. Он стрелял, а немцы продолжали, ковыляя и будто поддерживая друг друга, медленно приближаться к позиции сорокопятки. Мне показалось, что они сильно пьяны.

Цепи перед нами залегли. Трижды нас обрабатывали артминогнем, трижды немцы пытались идти на нас. Но мы их прижимали к земле. Стемнело. Выслал разведчиков. Вернулись, доложили: немцев в перелеске нет, отошли. Выяснилось заодно, что расчет сорокопятки и пулеметчики "максима", на которых шла пьяная группа немцев, сбежали, вынув замки.

Утром пришел приказ - батальону переместиться на другой участок, где немцы в первый день атаковали с танками и где уже наша 44 с. д. потеряла целый полк и 2-й батальон нашего, 305-го полка.

Выдвигались на новую линию по открытому полю. На песчаном перекате оказались совсем на виду у противника и он буквально все сметал прямой наводкой. Пришлось залечь в каких-то ямах и канавах, оставшихся, видно, от довоенного песчаного карьера. Но оставаться до темноты было нельзя: впереди НП командира полка был уже полуокружен. Две роты другого батальона укрепились на флангах этого полукруга, а нашему надо было буквально броском выдвинуться в дальний, передний его край. От песчаных ям до полкового НП на хуторке Путну-Жида (на немецкой трофейной карте вторая половина названия отсутствовала!) было полкилометра открытого голого поля. На хуторе виднелся только каменный амбар без крыши. Деревья повалены, обожжены или, посеченные осколками,

остались стоять почти совсем ободранные. Земля на хуторе и вокруг, как потом убедились, была вся изрыта воронками.

Приказал ротным посылать бойцов по двое-трое резкими бросками перебегать к хутору. Там начинался овражек, где нам и надлежало закрепиться. Последним с двумя связными и посыльным (денщиком) перебегал я. Метрах в двадцати от блиндажа комполка нас накрыл очередной артналет - били прямой наводкой по видимым целям с близкого расстояния. Между нами и НП оказалась наша самоходка "СУ-85". Два моих сопровождающих бросились к ней. Успели - прижались к гусеницам. И в этот момент снаряд, нацеленный на самоходку и разорвавшийся рядом, разнес их обоих в куски.

Мы, оставшиеся вдвоем, опрометью, "отключив сознание", в несколько секунд проскочили расстояние до блиндажа комполка подполковника Бамбаля¹⁵. Блиндаж был забит людьми, - на хуторе это было единственное укрытие. По нему, давно обнаруженному, нещадно били немцы. Протиснулся к подполковнику. Он мне: "Где роты?" "Думаю, уже в овраге..." "Думаешь, е.т.м.!! Твоего батальонного с утра не могу выпихнуть из блиндажа. А ну! Забирай этого своего м... и марш к своим!!!"

Уже начало смеркаться и немцы били не так прицельно и не так плотно.

Все, кто был из батальона, человек десять, выскочили из блиндажа и скатились в овраг. Добрались до своих солдат, которые яростно окапывались. Замкомбата уже "освоил" немецкий блиндаж под КП, - тут же, в линии наскоро вырытых одиночных окопчиков. Но входом он был обращен в сторону противника. Это был немецкий блиндаж на рубеже, откуда их выбили позавчера. Довольно прочный и просторный.

¹⁵ *Комполка был незаурядный человек. Когда я появился в 305-ом, он уже был с тремя "хорошими" орденами. Смелый, грубоватый, отчаянный. На полковом уровне он был, мне казалось, безусловно грамотным командиром. Глупых решений и действий я за ним не заметил, конечно - в рамках моего разумения. А между тем, до войны он был кузнецом (кажется, на каком-то харьковском заводе). И "военную науку" постигал на самой войне. Был замечен и отмечен неслучайно - карьера от рядового до комполка встречалась нечасто. Однако пил. Пил по-крупному. Правда, только тогда, когда боевая обстановка позволяла. В такие моменты был, мягко говоря, невежлив с подчиненными. Впрочем - это удивляло меня - со мной ни разу не позволил себе ничего, унижающего достоинство.*

Когда после войны полк перебросили в Эстонию, бесшабашная "пролетарская" натура в Бамбале совсем взяла верх - он не просыхал. Пьянки с дружками и бабами следовали одна за другой. У него была ППЖ еще с 1944 года, связистка, считалась даже официальной женой (помимо той, что дома, в тылу). Она стала устраивать скандалы и жаловаться - начальству и по партийной линии. И однажды, во время пьяного выезда на озеро, он попытался ее утопить. К счастью, верный адъютант остановил своего командира, вроде бы даже применив силу.

Бамбаль попал под суд. Тут же был снят с должности... Я его позже встретил как-то в Харькове - опустившегося, потерянного, уволенного из армии и не знающего, что с собой делать.

Стемнело. Я приказал было зажечь коптилку или кабельный шнур: ни черта ведь не видно. Комбат заорал: погасить, демаскировка! Прошло полчаса, может час. С той стороны оврага донесся рев танков. Начался мощный минометный налет. Начали бить пушки по Путну-Жиды, по нам и по Мужниеки, хутору рядом, занятом другим батальоном полка.

Грохот близких разрывов был такой, что даже в блиндаже надо было орать, чтобы тебя слышали. Сами пушечные выстрелы были явственно различимы, значит, пушки (оказалось, самоходки) находились совсем рядом, в десятках метров. От выстрела до разрыва снаряда проходило едва ли секунда-две. Над нами повисли десятки осветительных ракет.

Наша артиллерия почему-то молчала. Положение становилось отчаянным. Комбат забился под нары и что-то панически выкрикивал оттуда.

Телефонные провода, протянутые от НП Бамбаля были все вдрызг порваны. Рацию комбат почему-то "забыл" на старом месте. Я понял, что от этого жалкого труса и негодяя ждать нечего. Кричу замкомбата: беги к самоходкам, наведи, пусть отсекают немца фланговым огнем. Я побегу на НП полка. Бамбаль наверняка не знает, что нам грозит. Если прорвутся через нас - хана всему полку.

Вдвоем, переждав очередной налет, выскочили из блиндажа. Я побежал по кромке оврага к темнеющему силуэту амбара - там рядом полковое НП. Не добежал метров пять-шесть до амбара, как услышал лязг гусениц. Оглянулся. Буквально напротив, на той стороне оврага ворочался хобот "фердинанда". На фоне неба над откосом он был отчетливо виден и будто искал цель своей невероятно длинной пушкой. Тут же сверкнул выстрел и через секунду меня оглушило и отбросило волной взрыва. В тот же момент я почувствовал, будто тяжелым кнутом хлестнуло по левому бедру. Упал. Боли не было. Но штаны сразу намокли. (Позже я "вычислил": снаряд угодил под самый фундамент каменного сарая, осколки пошли не на меня, а от меня, мне достался рикошет от стены. Осколок - мне показал его хирург в медсанбате - формой в кубический сантиметр и с острым отростком на одной стороне, врезался в кость спереди, но не пробил ее.)

Почему-то я пополз не на НП полка, до которого было ближе, а обратно - к батальонному блиндажу. Может потому, что как раз в эти секунды гулко и мощно "застучали" наши самоходки. Видел трассирующие

снаряды: били по тому краю оврага и вдоль него. "Мой фердинанд" стал пятиться и скрылся за кромкой оврага. Значит, подумал я, либо замкомбата добежал до самоходок и навел их, либо комполка оценил ситуацию и вызвал огонь наших "СУ-85". (Кстати - великолепная машина, появилась она на фронте только в 1944 году и, конечно, на порядок превосходила полуоткрытые "СУ-76". Это, по-существу, танк "Т-34" только без башни, столь же маневренная, но с более мощной пушкой и усиленной передней броней.)

Прилег рядом с бойцом в его одиночной ячейке. Тот потеснился, перестал стрелять. Перевязал кое-как (у меня бинта с собой не было). Я попытался встать, но острая боль заставила и дальше ползти. Стрельба с обеих сторон шла оглушительная. Разделяло наших кое-как окопавшихся солдат от изготовившихся к атаке немцев на противоположном гребне овражка, как говорится, "всега ничего". То, что они не решились на атаку, заслуга все-таки самоходок, занявших очень выгодные позиции вблизи НП Бамбаля. Пока я полз до КП, они не переставали лупить флангирующим прямым огнем по немецкому рубежу атаки и вдоль оврага.

В батальонном блиндаже коптилку пришлось зажечь, вопреки паническим воплям комбата, на которого уже никто не обращал внимания. Перевязали меня более или менее прилично. Замкомбата вернулся на КП еще раньше. Говорит: "Я видел, как тебя долбануло. Думал, накрылся ты совсем. Решил бежать к Бамбалью. И, как видишь, вовремя. Он не сек, что происходит. И тут же дал команду самоходкам и "катюшам"... "Но "катюш" что-то не слышно", - возразил я. "Будут!" Действительно, через какое-то время та сторона оврага оказалась в огне и грохоте. Ясно было, что немцы уже не сунутся. И я решил, пока не рассвело, перебраться поближе к медицине. Рана ныла, нога "отнялась".

Взял двух разведчиков и они подруки поволокли меня в тыл. Несколько раз мы попадали под минометный налет, отсиживались в воронках. В хоззвезде старшина первым делом влил в меня целую кружку водки. Я "отключился". Разбудили меня близкие разрывы. Я лежал на повозке, вокруг рвались снаряды. Мы оказались у перекрестка дорог, который немцы постоянно держали под огнем. Чуть не добило меня тут

вместе с ездовым и лошадей. Однако обошлось. К утру я был доставлен в медсанбат.

Страх охватил меня, когда я увидел массу раненых, лежавших прямо на земле возле огромной санитарной палатки, ожидая очереди. Меня почему-то понесли сразу в палатку. Сколько глаз хватало - стояли узкие операционные столы, на них лежали молча или кричали корчась оголенные раненые. Запомнил молодого хирурга - капитана. Действовал он быстро и весело. Спустил мне штаны. На живот положил какой-то валик, чтоб я не видел, что он делает с моей ногой. Всадил в меня шприц. Сознание потемнело, но совсем не выключилось. Я чувствовал "работу" доктора, но больно не было. Он поднес к моему носу осколок, покрутил им и положил мне в карман гимнастерки. Я совсем забылся и проснулся уже в приемном покое рижского госпиталя.

Пробыл я там ровно два месяца - до 8 марта. Самое страшное - это перевязки. И даже не моей ноги, а то, что видел и слышал в огромной операционной: десятки изуродованных тел на столах, обрубки ног, рук, вспоротые животы, дышащие кровавые, как освежеванные, ребра. Однажды рядом на столе перевязывали солдата, у которого обе ноги были ампутированы до таза. Он рыдал, матерился, умолял, чтоб его умертвили: "Не хочу жить! Не могу так жить!" - кричал он...

Самое приятное - встречи с Машей, которая оказалась в запасном полку в Риге. Позже, когда начал ходить, - посещения театров. Еще более приятны - письма от батальонного писаря Спиридонка, который "все знал". Он мне сообщал (может, и привирал), как все восхищаются моим поведением, о том, что комбата разжаловали и куда-то отправили, исключили из партии, что немцы не прорвались и фронт снова замер, что это была с их стороны скорее всего масштабная разведка боем - чтобы убедиться, что мы в Курляндии наступать уже не в состоянии и им нет необходимости ни убираться отсюда, ни требовать от Гитлера подкреплений. Сообщил мне он и о том, что меня представили к ордену Красного Знамени. (Спустя месяц он же мне написал, что в штабе армии представление "переделали" на орден Отечественной войны 1-й степени.)

Из разговоров с ранеными, доставленными тоже из-под Джукстэ, становилось ясно, что войска на Тукумском направлении, мало боеспособны.

Дивизий много, но в них очень мало личного состава. В полках, как правило, по одному батальону (как и в нашем 305-м после Путну-Жиды-Мужниеки). Наступление, предпринятое перед Новым годом, а потом еще раз - 23 января, уже "без меня", линию фронта почти не изменило. Живая же сила была израсходована до предела. А пополнять нечем. Из глубокого тыла не поступает ничего: все уходит на активные фронты. "Воспроизводство" же здесь, в госпиталях, абсолютно недостаточное. В результате обескровленные части кое-как (5-6 января продемонстрировали это сполна) держат фронт, но наступать они ни в коем случае не могут. В приказе Военного Совета 2-го Прибалтийского фронта, который нам зачитал по палатам замполит госпиталя, и не было таких слов: "наступление", "преследование". Говорилось лишь об "активных действиях". Но гвоздь приказа: "наряду с боевыми частями все другие - части обеспечения, зенитчики, запасные, дорожные и строительные батальоны - все к пешему бою".

В нашем госпитале в феврале стали подчищать всех, кого возможно и даже сверх того, и отправлять в запасной полк, а там люди задерживались не более суток. Офицеры с передовой в очередь стояли, чтобы получить хоть сколько-то солдат. Брели кого попало: строевой ты или не строевой, списан по чистой или еще рана не зажила, хромаешь. Забегал в палаты один такой офицер - вербовщик из моей дивизии. Рассказывал: на каждый полк дали пополнение - по неполной строительной роте.

В госпитале я много пил с соседями по палате, много курил. Пижонил, покупая папиросы "Советский Союз" - длинные, "генеральские", длиннее знаменитого "Казбека", по 100 рублей за пачку. И много писал в свои блокнотики.

Позволю себе некоторые выдержки из того дневника, с сохранением, как говорится, "стилистики автора".

17 января: "Странная бездумность, спокойствие и благодушие ко всему. Следствие ли это внутренних изменений во мне (опрошение, огрубление?) или резкого изменения обстановки и отсутствия опасности - не знаю".

Писал много не только потому, что в госпитале, сначала на койке, потом ковыляя по коридорам, делать было нечего. А потому, главным образом, что я продолжал сам себя "осваивать", как сказали бы теперь,

"идентифицировать". Первые дни продолжал письменно переживать бои под Джукстэ, "осмысливать" свое поведение. Оказалось, что об одном и том же написал трижды... и не без "несовпадений".

Констатировал: "естественное притупление чувств. Для меня это ново. Сам факт страданий, смерть воспринимаешь как нечто внешнее, не углубляясь в их "философию". Это тупое нежелание вдумываться в сущность того, что видишь, определить свою "оценку" характерно для моего изменившегося сознания. Видно, это результат исподволь пришедшего убеждения, что докапываться до причин и следствий - ерунда, пустое ничемное затруднение. Это и результат потери воли к жизни, измельчания интересов. Взять хотя бы мои желания. Они очень примитивны: хочу увидеть Машу... Чего еще хочу, пришлось долго думать... Да, хочу получить хороший орден, хочу вернуться на передовую, но на более высокую должность, хочу на недельку в Москву. Все!

Это даже не "стремления", и уж совсем не цель жизни. Может поэтому, когда 5 января я вышел на бруствер траншеи и пошел вдоль нее на виду у наступающих немцев, думал только о том, что это нужно для солдат, готовых поддаться панике, и ни разу не мелькнуло в голове - как хороша жизнь, что вот сейчас, еще мгновение, через секунду - и ее не будет и никогда больше не увижу ничего прекрасного...

Социальные импульсы жизни давно потеряли для меня силу. Честолюбие?! - Слишком мало хотения, слишком сильна рефлексия и значит сознание того, что почти всегда игра не стоит свеч, чтобы это что-то могло завладеть мной.

- Зависть? - Она с детства во мне была пассивной. Я не хотел того, что есть у других. А в соперничестве - не стремился быть первым... а лишь занять "достойное" место, не обидное для мальчишеского самолюбия, не мог позволить себе и другим оказаться в ряду униженных и попираемых.

-Тщеславие? - Оно вряд ли может сделать жизнь. К тому же во мне оно слишком соответствует этому понятию, - какое-то обыденное, будничное, с ориентацией на переживание прошлого, в котором я казался себе лучше других. Наверно, мое тщеславие - просто желание чем-то отличаться. И уж не так я глуп, чтобы пытаться опереться на него как на "движущую силу"

жизни. Я бы удивился, если бы мне сказали, что тщеславие - мое характерное качество".

В противоречии с этим самоедством, и не замечая, что одно с другим не очень сходится, на другой день, 18 января, я записал: "Мое спокойное, даже веселое настроение, несмотря на безвылазное нахождение под одеялом и дергающие боли в ноге, объясняются, по-видимому, удовлетворенностью самим собой, чувством выполненного долга. Я еще раз убедился, что в чрезвычайной, даже отчаянной обстановке владею собой лучше многих - орденосцев, заслуженных, старших по званию и должности. Ни словом, ни каким-то неуместным движением не унизил своего офицерского и человеческого достоинства. И не просто казался, а и в самом деле был в этих боях "абсолютно спокоен"... Это, кажется, называется "присутствием духа". А может, это и есть бесстрашие?... Может, поэтому меня и хранил Господь"?!

Вторая тема - Маша. Десятки страниц исписаны переживаниями: где она и что с ней, тревогой за ее девичью "честь" и саму жизнь. В госпитале оказались двое, которые кое-что о ней знали. Складывалась картина, характерная для положения, в каком в большинстве случаев оказывались Машины сверстницы на фронте. Читатель, там не побывавший, знает об этой стороне войны, главным образом, по повестям и рассказам военных писателей, да еще по невольно (не упрекаю!) приукрашенным и восторженным праздничным воспоминаниям самих "ветеранок" по телевидению.

А передо мной типичное, записанное по свежим впечатлениям свидетельство беззащитности перед теми, кто считал себя вправе пользоваться "боевыми подругами", как любым другим фронтовым имуществом - боеприпасами, продовольствием и обмундированием, "боевыми листками" - дивизионными и армейскими газетами.

После того, как мы с Машей расстались в ноябре 1944 года, она попала телефонисткой в роту ВНОС (воздушное наблюдение и обеспечение связи) ПВО 1-й Ударной Армии. Рота эта вскоре оказалась в той самой Слоке, которая теперь была уже в ближнем тылу, в пятнадцати километрах от передовой. Она с отвращением рассказывала мне потом в Риге, при первой нашей встрече, как, окунувшись в среду развращенных тыловиков, едва удержалась от того, чтобы не превратиться в ППЖ ("походно-полевая жена").

За время войны через роту прошли десятки девиц, откомандированных потом по беременности. А кто остался - состоят в "женах" у кого-нибудь - от сержантов до большого начальства. Никто и не пытается этого скрывать. А те, кому "особо повезло", нахально пользуются преимуществами от связи с кем повыше. И считают, что поступать иначе - глупо и смешно.

Машу вызвал к себе полковник. И без обиняков начал с главного: ты, мол, видишь, как живут девушки, которые хорошо себя ведут, не отказывают кому следует. У них много свободного времени, спят в условиях, каких у некоторых и дома не было, едят вкусно, пользуются авторитетом у солдат, имеют развлечения, ездят в "виллисах". Маша в ответ разрыдалась. Полковник ничуть не смутился, назвал "глупышкой", отпустил и велел "подумать". Через пару дней опять вызвал. На этот раз был груб, кричал, ругался, говорил, что он "не таких обламывал" и "не позволит издеваться над собой какой-то смазливой девчонке"...

Он ее снова выгнал и дал сроку еще два дня. Ответа от нее не последовало. Тогда ее из отдельной комнаты для женщин перевели в подвал дома, где был штаб. Там коротали ночи шофера и денщики. Дежурить у телефона приказано было по 12 часов в сутки.

В середине декабря мне удалось на день вырваться в Слоку (14 км пешком и столько же обратно). Увиделись в доме знакомого офицера, который теперь служил в охране штаба корпуса. Поразил меня неряшливый вид Маши. Я - мужик, с передовой - выглядел опрятнее и чище. Оказывается, она в бане была не весть когда, не помнит, когда меняла на себе белье.

На время полковник оставил ее в покое. Но не забыл. Однажды, когда к ним приехала какая-то самодеятельность, а Маша на концерт не пошла, он сам явился к ней в подвал. Был вежлив и ласков. Видно, убедившись, что нахрапом не возьмешь, решил переменить тактику.

Однако и это не помогло. И Машу отправили в запасной полк в Ригу, откуда она и прибегала ко мне в госпиталь. Потом полковник вновь ее "выписал" к себе. Но, ничего не добившись, опять будто бы куда-то откомандировал. И я, лежа на койке, мучился жуткими видениями - мне представлялась моя "любимая, обожаемая, драгоценная Маша" в окопе, в грязном мокром блиндаже на передовой, под постоянным огнем, или даже уже растерзанная снарядам. Из головы не выходила страшная картина,

которую однажды пришлось видеть: как-то с Дорошевичем верхами догнали на дороге машину связи, съехавшую в кювет. Вокруг суетились девчата и офицер. Спешились, подошли. На сиденье возле задней дверцы этого фургона увидели поникшую девушку. Гимнастерка растегнута, открытая окровавленная грудь рассечена огромным осколком от плеча до пояса - наискосок, как шашкой. Машину незадолго перед тем "накрыли" "мессершмитты"...

Тогда, в мои 24 года, в моем положении и с моей довоенной биографией, может, и простительно мое морализаторство насчет поведения "мужчин и женщин" на войне. Наверное, всякое бывало. А в общем-то и то, о чем я рассказал, - совершенно естественное, по здравым размышлениям, проявление главного и мощного мотива жизни в совершенно противоестественной обстановке. Кстати, и с отношениями "полковник-Маша" не так все было безобразно, как я сначала, будучи влюбленным, вообразил по ее собственным первоначальным жалобам и по рассказам доброхотов.

При последнем нашем свидании в Риге из ее простодушного рассказа о дальнейших попытках полковника покорить ее, он уже не выглядел развратным чудовищем. Скорее, молодой повеса, благодаря войне в чинах, к тому-же - художник в прошлом. Привык ни в чем себе не отказывать. А тут, натолкнувшись на отпор со стороны красивой деревенской девчонки, увлекся ею, сначала - из мужского гонора, потом искренне. И отправил он ее в запасной полк не из мести, а потому что выглядел смешным перед подчиненными, да и возникшее чувство мешало, наверное, нести службу. Ведь доходило до того, что он среди ночи вызывал ее, вроде бы по делу, с дежурства, лепетал несвязные слова, жаловался - какой он несчастный, а на самом деле - чтобы иносказательно донести до нее свои переживания. Однажды даже, прямо ночью, стал писать ее портрет.

Маша отказалась рассказать мне все в подробностях, сославшись на то, что "не сумеет". Но по всему ее тону и как она "проговаривалась", я понял, что она сама увлеклась игрой с полковником, что ей льстит его влюбленность, что она отнюдь не в положении несчастной жертвы, наоборот - может себе позволить "высокомерие" по отношению к подчиненным

полковника. То есть она уже получила тот "авторитет", который он с самого начала ей обещал.

О своем пребывании в запасном полку рассказывала неохотно и мало. Но в том, чем она отделялась от моих вопросов, чувствовалось сознание своей женской значительности. Раньше в ней я этого не замечал. Наоборот, тогда она была полна пессимизма, считала, что никому не может быть интересна.

Больше я Машу никогда не видел ¹⁶.

Как только я смог передвигаться, зачастил в рижские театры. Вещи там шли серьезные: "Евгений Онегин", "Эсмеральда", "Травиата", "Женитьба Белугина", еще что-то, а также наскоро сделанная симоновская "Так и будет!". На другой день после спектаклей я подробно записывал свои впечатления (с большой претензией на стилистику театрального критика). Воспроизводить это здесь - смешно. Но вот что наводило на размышления уже тогда и заслуживает упоминания: прошло всего три месяца, как "прогнали немца". А город, всего в 60-70 км. от передовой, жил полнокровной налаженной культурной жизнью. Помимо театров - концерты, полные кинозалы. Не разрушены не только здания. Артистические коллективы остались в "целости и готовности продолжать", как ни в чем не бывало. Даже знаменитый Русский драматический театр никто не тронул за три с половиной года оккупации.

Публика - рижане, латыши и русские - очень прилично одета. Немало военных, среди которых в первое свое посещение театра я почувствовал себя неуютно. Записал тогда: "Отвратительное чувство робости, будто я не имею права быть "в обществе" этих подполковников и старших сержантов, обмундированию которых может позавидовать любой фронтовой майор. Особенно меня смущали собственноручно зашитые дырки на брюках, порванных осколками, и шов на спине кителя - тоже от осколка, еще осенью полоснувшего меня "по поверхности".

¹⁶ После войны, после того, как я демобилизовался и вернулся в Москву, она слала мне письма. Не получая ответа, стала писать матери, укоряя меня за то, что я ее "бросил", а она была бы "такой женой, какую ваш сын никогда не найдет в своих университетах". Безграмотные, по-детски наивные строки (она и семилетку-то не кончила)... Но сколько было в этих письмах, написанных карандашом на серых тетрадных листочках, неподдельного чувства, преданности, отчаяния, ласки, жгучей обиды и страстного желания вернуть любовь. Увы! Я уже "погрузился" в возделенную свою "интеллектуальную" университетскую стихию. Но - письма Маши произвели впечатление на мать. Она хотела даже пригласить ее приехать в Москву...

На "Евгении Онегине" я оказался рядом с молодой рижанкой, студенткой, весьма миловидной. В антракте разговорились. Попробовал узнать, что ей известно из русской литературы, что "проходили" в гимназии. Отвечала односложно, назвала несколько имен: Пушкин, Толстой, Достоевский. Поинтересовался, кто из композиторов популярен у латышей. Ответы тоже односложные: Бетховен, Чайковский, Шопен. Когда попробовал "углубить" разговор, она уклонилась, сославшись, что плохо владеет русским языком. Лукавила. Узнал я, что она играет на фортепьяно, попутно сообщила, что все лучшие пианисты уехали с немцами, а филармония (долго не могла понять это слово) еще не работает. Впрочем, через неделю она открылась и я успел там послушать Чайковского и Римского-Корсакова. В опере ее больше занимала музыка, а не действие. Я заметил несколько раз ее болезненно-умоляющий взгляд, обращенный на балконы и назад, когда во время увертюры и музыкальных пауз русская часть публики (то есть военные) начинали разговаривать, а то и просто шуметь.

Во втором антракте она подошла к двум молодым людям в строгих костюмах при бабочках. оживленно с ними разговаривала - совсем не такая, как со мной. Я был для нее чужой, вызывающий опасения. И не уверен, что она поверила в мой искренний "интеллигентский" интерес к ней. Когда вернулась в зал, я наиграно замолк, насупился. Это ее встревожило - неразумно показаться невежливой с советским военным. Она заискивающе пыталась мне что-то шептать.

Холодность, прикрытую профессиональной вежливостью я почувствовал и в магазинах, куда заходил просто так, поглазеть. Кстати, они были вполне "комфортабельны", как я почему-то охарактеризовал их в своем дневнике.

Иногда я приезжал в центр Риги задолго до начала спектакля. И бродил по улицам этого по-существу иностранного города, а то и просто стоял в удобном для обозрения месте, опершись на палку (еще прихрамывал). Мне всегда казалось, что женщины определяют лицо города. Здесь - тоже. Но здесь мода господствует, записал я потом. И это выдает другой уровень благосостояния и культуры. При всех вариациях одежды, нетрудно выделить ее основные черты. Короткие пальто в сборку у талии, острые плечики, обширный меховой воротник. На голове либо берет с широкими,

вытянутыми в одну сторону полями в виде козырька, либо платочек, плотно повязанный вокруг лица и свободно спадающий за спину, реже - маленькая причудливая шляпка. Вуалеток не носят, но иногда волосы сзади собраны сеткой. Туфли на высоком каблуке. Боты на кнопках, застегнутые немного выше щиколотки, реже - кожаные сапожки или туфли на толстой подошве. Ни того, ни другого в Москве до войны не было.

Косметика обязательна. Характерны - бледность лица, острая чернота бровей, ярко-красные губы. Краски кричащие, иногда кажется - не ради красоты, а чтобы видно было, что - дорогое и модное.

Однажды, перед самой выпиской из госпиталя, я поехал на концерт. Билета у меня не было - в кассе на мою долю нехватило. И пошел опять бродить по вечернему городу. Воспроизведу впечатления по записи, сделанной на утро.

"После солнечного дня растаявший снег хрустел под ногами. Луна освещала затемненные улицы, выделяя дома на фоне других, более высоких. Крыши по своей конфигурации с оттенком средневековья навевали романтические ассоциации из когда-то прочитанного. Наблюдал и фантазировал. Вот осветилось окно в верхнем этаже дома, стилизованного под готику. Кто-то опустил гардины. Я представил себе комнату: мягкая мебель, много книг по полкам, рояль с открытой клавиатурой, забытые на пюпитре ноты. В углу дивана кутающаяся в плед девушка с книгой на коленях - одна из тех стройных, изящных, какие попадались днем на улицах.

Обгоняет меня группа молодых людей и девушек, некоторые в очках, с портфелями. По оживленному разговору со специфическим оттенком умного веселья узнаю в них студентов.

Вот парочка. Стоят на углу улицы. Он держит ее за обе руки и что-то быстро убеждающе говорит. Она отвечает междометиями. Вдруг он энергично берет ее под руку и она, будто сразу успокоившись, зашагала с ним в ногу широкими шагами. Оба смеются.

Вот девушка. Одна. Идет быстро, озирается, кутая руки в муфточке. Я мысленно последовал за ней в ее уютную квартиру, где ее давно ждут и беспокоятся.

Чего только не промелькнуло в голове, пока я наблюдал эти сценки. Сел в трамвай, доехал до остановки "Воздушный мост". Это окраина.

Она мало отличается от московских - деревянные дома, крашенные заборы, изредка пятиэтажные коробки...

Пошел вдоль кладбища. Пустынно. Тишина уже другая - не как в центре. И другие мысли полезли в голову. За 20 минут, пока шел до госпиталя, создал целую легенду из пережитого за этот вечер.

И осело удивление. Этот цивилизованный уютный, мирный город - всего в полусотне (пусть чуть больше) километров от передовой линии фронта. Он таким был до войны, он таким был до 13 октября, когда ушли немцы. Он таким остался. Война для него - чужое дело. Она не принесла ему вреда. И освобождение его ему так же не нужно, как до того - оккупация. Зачем же все это? И нам он - зачем, вся эта страна?"

7 марта меня выписали из госпиталя. А на следующий день врачи и сестры отделения устроили под предлогом женского праздника проводы мне и еще нескольким офицерам. Была выпивка и танцы. Может попадется это мое сочинение кому-то из тех женщин, которые в том рижском госпитале №1396 нас выхаживали. Назову их: Ася Андреевна, начальник отделения, великолепный хирург, Мария Георгиевна, мой лечащий врач, еврейская красавица, Ася Деркач, старшая сестра, украинка, которая появилась в госпитале за неделю до этого события, строгая и страстная, сумевшая всех оттеснить и буквально заставившая меня прощаться с ней накануне ночью и в ночь перед моим отъездом. Это было так по-женски, так самоотверженно, "с риском для репутации", так благородно - будто благословила меня дожить до конца войны.

В 6 утра 9 марта я покинул госпиталь. На трамвае доехал до противоположной окраины Риги, на КПП вскочил в полуторку, которая шла на Митаву. По дороге (30 км) на ветру весь промерз. От Митавы еще 18 км уже пешком до станции Ливберзе, где находился отдел кадров 1-й Ударной армии. Там же и ее штаб. Наткнулся на солдат, с которыми служил еще в 43-м году. Обрадовались, показали, где найти Владимира Александровича Толмачева, моего друга и бывшего начальника. Он меня встретил бурно, долго лобызал, не переставая что-то говорить, повел поить и кормить. Володька к этому времени сделал "хорошую карьеру": майор, зам. начальника оперативного отдела штаба армии.

По утру я пошел искать свою 44-ю дивизию. Штаб ее располагался в той самой Джукстэ, поблизости от которой меня и ранило. Вьюга, липкий густой снег, сбился с дороги. Стало темнеть. Понял, что засветло не дойду. Стал искать пристанище. Забрел в расположение какого-то артполка. Долго и многократно проверяли - кто я такой. Поместили в комнатухе у какого-то капитана. Разговорились. Оказался москвич, ровесник, инженер. Даже вроде сблизилась. Но когда я стал располагаться спать, он попросил отдать ему на ночь пистолет. Извинялся, но, мол, "на всякий случай".

В отделе кадров дивизии - уже не первый раз - отвратительное зрелище капитанов, майоров и подполковников, униженно выпрашивающих должностишку получше у начальника - тоже майора. На меня был запрос, и без проволочек этот всеильный майор выписал мне направление в мой же 305-й полк, но уже на должность ПНШ-1 - первый помощник начальника штаба полка (у начштаба по штату пять помощников: по разведке, по артиллерии, инженер полка, по снабжению; ПНШ-1 - помощник по оперативным вопросам, он же - зам. нач. штаба).

Так, с 11 марта начался последний акт "моей войны", который продолжался до 5 мая.

15 марта полк сменил на передовой 124-й с.п. 374 с.д. Немцы - в 100-200 метрах. Организовывать оборону можно было только ночью. Днем вся местность просматривалась и простреливалась. Какая работа у ПНШ-1? Вместе с комполка, комбатами и офицерами поддержки - выбор огневых точек, определение боевых порядков на местности и на карте, "увязка" системы огня, уточнение переднего края противника, наиболее с опасных пунктов на его рубеже. По возвращении в штаб - поправки на карте в соответствии с реальной расстановкой подразделений, составление донесений в дивизию.

Перед выходом на рубеж полк состоял всего из двух батальонов, по три роты в каждом. В роте - 40-50 человек, тогда как по уставному штату должно быть 190.

Через неделю приказано было прорвать немецкую оборону между хуторами Мариньмуйжа и Вамжа. Дали нам для этой цели дивизион 85 миллиметровых зениток. Их пришлось выкатить из опушки леса на открытый пригорок только утром, перед самой атакой: иначе при их высоте и

громоздкости они торчали бы на виду и были бы расстреляны в считанные минуты. Получилось удачно. Зенитки затарахтели дружно и точно, видны были трассирующие нити снарядов и прямые попадания по немецкому рубежу. И когда поднялись роты, сопротивление было слабое. Быстро заняли первую немецкую траншею и два опорных пункта - хутора Салыню-Пуны и Эрмес. На следующий день продвинулись еще на полкилометра, а всего за два дня - на шесть. И тут немец опять уперся. Две разведки боем 1-го батальона окончились его уничтожением. Остатки влили во 2-й батальон. Кроме того, три роты по сорок человек каждая пришлось отдать соседней дивизии, у которой обозначился успех, а резервов нет - из армии давно уже не давали пополнений - ни единого человека. И остался наш 305-й с полутора батальонами неполного состава, как раньше бы сказали, - штыков 75!

Далее - точное воспроизведение занесенного 4 апреля в дневниковый блокнот.

"1 апреля немец отошел еще на 5,5 км Мы последовали за ним. Он остановился и мы встаем. Ему нечем обороняться на не подготовленном заранее рубеже, нам нечем наступать. "Равновесие" и поразительное затишье. Единственное, что беспокоит - "не ушел ли за ночь незаметно!" Ложимся спать, встаем с одной мыслью: "Не прозевали ли? Тут ли он еще?!" Разумеется, немец уйдет, когда ему заблагорассудится. И мы вновь последуем за ним, пока вновь не упрется уже на заблаговременно подготовленном промежуточном рубеже.

И что ему нужно в этой Курляндии, когда наши уже под Берлином, когда Толбухин вот-вот возьмет Вену, а союзники проходят в день по 85 км ?!"

Во время этой игры в преследование кое-что случалось, помимо редких стычек и перестрелок с немцами.

В ночной разведке очередного немецкого рубежа был тяжело ранен ПНШ-2 (полковой начальник разведки). Пуля раздробила бедро у самого основания. Красивый, остроумный, лихой белокурый парень, на гражданке - начинающий инженер, умница и немножко пижон - уж больно хорош! Мы с ним и по службе и по-человечески очень пришли друг другу.

На другой день после объявленного окончания войны, когда полк был на марше к железнодорожной станции для погрузки в эшелон, во время

привала, по дороге мимо двигался обоз с ранеными. Встали, подошли к повозкам: может кого своих увидим... На одной из них - мой капитан-разведчик. Он один был на телеге. Лежал с закрытыми глазами. Я тронул его за плечо. Он посмотрел на меня будто невидящим, отсутствующим взглядом. Я не сразу нашелся, что сказать. А он молча несколько секунд смотрел, потом отвернулся и зарыдал.

Нога у него была отнята по самый таз. Я не мог уже ничего говорить. Сам захлебывался от слез. Прошел немного рядом, погладил его по щеке, повернулся и пошел к своим.

Второй эпизод. Каждый раз, когда немцы отходили, они минировали подходы к оставляемому рубежу. И каждый раз первым в нашем следовании за ними шло отделение саперов. Однажды рано утром, обнаружив отсутствие немцев перед нами, как обычно, двинулись вслед. Впереди саперы, шагах в десяти за ними я с группой разведчиков (после ранения ПНШ-2, замену ему не прислали). Вдруг взрыв. Один из саперов упал - оторвало ступню - я бросился к нему. Он лежал навзничь. Спокойный такой, отрешенный. Посмотрел на меня и сказал: "Вот, товарищ капитан, был у вас в полку один геройский еврей и тот п... накрылся".

Третий эпизод, о котором хочу рассказать, до сих пор - как вспомню - вызывает ужас и отвращение.

С комполка сидели на НП, сооруженном у самой верхушки высокой сосны, высматривали немецкий рубеж примерно в километре от нас. Лес тут спускался к низине и за опушкой хорошо было видно расположение противника.

Вдруг лезет к нам по лесенке связной комполка. "Товарищ подполковник, там из "смерша" пришли, вас спрашивают".

- Чего им? - огрызнулся Бамбаль.

- Не сказали. - А ну их на х... Капитан, спустись, узнай. Я слез. У землянки комполка ждали майор и капитан в сразу узнаваемой явно некопной форме. Подошел, козырнул, представился.

- Где товарищ Бамбаль?

- Вон, - киваю вверх в сторону сосны, - занят немцами.

Он поручил мне выяснить в чем дело.

- Дело в том, товарищ капитан, что мы привели дезертира, приговоренного к расстрелу. По приказу он должен быть расстрелян перед строем.

- Почему у нас? У нас, кажется никаких дезертиров не было.

- Командир дивизии назначил в ваш полк. Давайте, товарищ капитан, не разводить дискуссию. Сколько вы можете собрать здесь бойцов?

- Человек 15-20.

- Постройте.

Сам я этого делать не стал. Отошел к соседней землянке и приказал штабному старшине построить тех, кто находился в этот час на НП полка.

Люди, еще не понимая, что происходит, суетливо стали выстраиваться в шеренгу. Я стоял в отдалении. Из-за кустов двое рослых сержантов в длинных кавалерийских шинелях вывели парня в разорванной грязной гимнастерке и в кальсонах. Больше на нем ничего не было. Подвели к краю воронки. Майор начал читать приговор. Потом заорал приговоренному: "Понятен приговор?" Тот, в соплях и слезах, что-то пробормотал. Один из конвойных сильно толкнул его: "На колени!" Солдат упал на колени. Другой тут же выстрелил ему из "ТТ" в затылок. А когда он скатился в яму, тот кто толкал, сделал в него "контрольный выстрел".

Майор скомандовал старшине: "Прикажите закопать". Старшина, обескураженный, как и все в строю, обернулся ко мне. Я еле сдерживался от бешенства. Зашагал (именно так, чуть ли не строевым) к майору, подошел вплотную: "Все, товарищ майор! Поняли?!" Развернулся и скомандовал: "Разойдись!" Закапывать пришлось конвойным.

Зачем? Почему? Как можно так цинично унижать, так подло оскорблять людей, тех, кто дошел почти до края войны?

Вот она - чудовищная машина, предназначенная для того, чтобы управлять, воздействуя на самое низменное, животное в людях, подавляя их страхом.

Так получилось - трижды я оказался невольным свидетелем ужасающей, отвратительной работы этой машины: едва попав в армию осенью 1941 года в горьковской Марьиной Роще, когда в назидание всему военному городку приговорили парня к смерти; после первого моего боя в

Онуфриево-Великом Селе; и вот теперь, перед самым концом войны - в Курляндии.

Не думаю, что мне особо "везло" в этом смысле. Реакция "свидетелей" этого зрелища во всех трех случаях была одной и той же - ненависть к тем, кто этим занимался, жалость к смертникам и ни малейшего "воспитательного" эффекта.

В начале апреля полк, после нескольких подобных описанному "выталкиваний" немца, занял свой последний рубеж - в районе хутора Путнукрогс, в 17 км южнее Тукумса.

Непросто было его "оборудовать". Слишком мало осталось нас в полку, хотя и участок-то чуть больше двух километров по фронту. Вот так описан в дневнике один из первых моих дней на последнем рубеже. "С утра комполка позвал с собой на рекогносцировку. Излазили - особенно левый фланг, где большой разрыв в стыке с соседней дивизией. Передовое НП Бамбаль оставил на линии окопов, но велел инженеру "взорвать" рожицу перед НП на нейтральной полосе - "чтоб лучше видно было". Наметили точки для двух пулеметов, которые должны прикрывать фланг. Понаблюдали в стереотрубу, чем занимаются немцы в 150-200 метрах от нас. В батальонном блиндаже инструктировал разведку: ей сегодня в ночь действовать в засаде по захвату языка. Говорил с людьми, еле отобрал: один слишком хилый физически, у другого хронический бронхит - выдаст кашлем, третий без шести пальцев в общей сложности, четвертый видит только на 40%, этот в оккупации был - использовать в разведке запрещено. Но пять человек удалось отобрать, более или менее пригодных для такого дела.

Вернулся к комполка, который намечал огневые позиции для орудий прямой наводки. Поставил он их хорошо, но снаряды разрешено тратить только в случае немецкой контратаки. О поддержке ими разведки, если понадобится, нечего и думать.

К себе, в штаб, вернулся в 15 часов. Засадил штабных за схемы и карты, за составление доклада в дивизию. В 10 вечера сел писать дневник. "Живу" я с оперативной частью штаба в уцелевшем доме, от которого передний край немцев в 800 метрах, за рожей. Остальной состав управления полка - в землянках, в небольшом леске позади моего дома, метрах в 300-х.

Сначала я тоже было залез в землянку, но там схватил меня такой приступ астмы, что не только воевать, выжить не смог бы, да еще при почти круглосуточной нагрузке. А тут - светлые комнаты, голландская печка, круглые лакированные столы, двуспальная кровать. Один вид такого жилья располагает "действовать".

Таков вот день... Докладывают: немец бросает красные ракеты. Видно, что-то затевает. Надо пойти в батальон".

Так закончил я эту запись и отправился на КП батальона. Уже стемнело.

Между прочим: жуткое ощущение, когда ночью кажется, что стреляют прямо в тебя. Проверяешь ночные посты в окопах, стоишь возле солдата - вдруг выстрел с немецкой стороны. И если стреляют прямо в твоём направлении, хотя, конечно, вслепую - ночью не видно высунувшихся из окопа, - выстрел бывает очень громкий: из винтовки будто из малокалиберной пушки. Это потому, что стреляют почти в упор: наши линии окопов в ста метрах от немцев.

Итак, в эту ночь я отправился на КП батальона. Комбат - грузин, старший лейтенант, с тремя орденами. Мы с ним на "ты". Говорит с сильным акцентом:

- Послушай, капитан, зачём тебе эта разведка? (Я днем отобрал людей в его батальоне и инструктировал их.)

- Не мне она нужна. - Я понимаю. А зачём ты настаиваешь? Нэ надо уже воевать. Война уже кончилась. Зачём людьми рисковать? Они жить хотят. Ты же сам видэл, какие они у меня... Погубишь людэй. И чего они тебе принесут? Так все видим. Уйдет нэмец отсюда сам, бэз твоей помощи.

Что-то в этом роде он мне "по-грузински" красочно растолковывал. Я был с ним целиком согласен. Но обязан был выполнять приказ. И настаивал.

- Ладно. Нэ хочешь ты слушать мэня, - заключил он. - А кто их повэдет?

- Ты или твой зам. - Нэт, капитан, я и мой зам нэ поведут этих людей в разведку. Если тэбе так надо, вэди сам. Я завелся. Но делать было нечего. Не жаловаться же бежать к Бамбалию на этого "по-грузински" мудрого и уже по горло навоевавшего старшего лейтенанта.

Вызвал он отобранных днем ребят. И поползли мы на нейтральную полосу. Немцы то и дело освещали нас белыми ракетами. Вот уж поистине - как в той песне из кинофильма по бондаревской "Тишине": "кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда". Мы замирали. Впереди полз самый резвый, разведчик-профессионал. Рядом с ним - сапер, за ними я, за мной на расстоянии пяти метров еще трое.

Это была разведка-засада. То есть нам не надо было врываться в окопы противника, чтобы там захватить языка. Мы должны были затаиться поблизости от немецкой линии и выжидать: может, сами они разведку пустят в нашу сторону, может, минеры выползут на нейтралку, или начнут проверку целостности проволочных заграждений - тут успеть схватить одного, остальных перебить.

Однако, когда были уже метрах в пятнадцати от немецкого окопа, прямо перед нами длинными очередями стелющимся огнем стал бить станковый пулемет. Прижались к земле. Я сначала решил, что нас обнаружили и режут по нам. Но пулеметчик перенес огонь в сторону. Значит, просто страхует нейтралку. Поползли вдоль окопа, правее пулемета, но задели проволоку - и зазвенели колокольчики. И тут уже не только тот, а и соседний пулемет стал бешено палить над нашими головами. Я понял, что ничего мы тут не получим, дернул за ногу сапера: отползаем назад. Долго мы ползли сквозь редкие кустики по прошлогодней мокрой траве, освещаемые мертвенным светом ракет, под несмолкаемый стук пулеметов. Одного солдата пуля слегка задела по спине возле плеча. Легко отделались. Задание вроде "выполнили", хотя и безрезультатно.

Отпустил я своих разведчиков, а к комбату в землянку не пошел. Впрочем, "язык" сам объявился через несколько дней. Просыпаюсь я на своей двуспальной кровати. И глазам своим не верю: рядом на табуретке сидит натуральный немец. Ошалелый спускаю ноги с кровати (в сапогах, кстати), трясую головой, шарю пистолет. Привел меня в чувство хохот Цукурова - штабного шифровальщика. Ребята решили пошутить над начальством: это был перебежчик. Молодой крупный рыжий немец. Обошлись мы с ним весело, насмешливо, и он, оттаяв после испуга, много полезного рассказал... Но воспользоваться этим ни мы, ни дивизионное начальство уже не могли - силенок у нас никаких не оставалось.

1 мая подтвердило правоту грузина-комбата: война кончилась. Произошло нечто вроде "братания" на расстоянии. Инициатива была за немцами. Они с утра вылезли из окопов и стали на наших глазах умываться, бриться, обливать друг друга из ведра - при этом гоготали, прыгали, гонялись друг за другом. Кое-кто махал нам руками, что-то кричал. Мы знали, что у немцев 1 мая тоже какой-то массовый праздник.

Никому в голову не пришло стрелять по ним. Наши тоже стали вылезать из окопов. Правда, в пляс не пустились, но руками махали, кричали: "Фриц, Ганс! Идите сюда, водка есть!".

Весь день на позициях друг против друга не слышно было ни единого выстрела.

А вечером из дивизии принесли приказ: нашу 44-ю в ближайшие дни сменит свежая, 382 с.д., пополненная и усиленная, которой предстоит штурмовать немецкий рубеж на участке нашего полка, если не будет поднят белый флаг капитуляции. Каждую нашу роту, насчитывавшую к этому времени не более двадцати "активных штыков", должен был сменить целый полк. Для показухи нашлись и резервы. Нам же пока надлежало за три ночи подготовить для сменщиков на нейтральной полосе, в ближайшей к немецкой линии рощице, исходный рубеж для атаки.

Все было ясно: Берлин пал, война вот-вот закончится и нашим фронтовым (или армейским?) генералам надо продемонстрировать Ставке, Сталину, что мы ТОЖЕ участвовали в окончательном разгроме противника или принудили его к капитуляции! Даже тогда мне это показалось генеральской причудой, хотя она вполне укладывалась в порочную нашу логику войны - дорожить мнением начальства (или бояться его) больше, чем жизнями солдат.

И вот три ночи подряд - со 2-го на 3-е, с 3-го на 4-е и с 4-го на 5-е мая полк выполнял этот приказ.

Вечером 2 мая перед землянкой Бамбаля я выстроил человек семьдесят с лопатами. Комполка вышел, объяснил задачу. И потом, обернувшись ко мне, неожиданно сказал: "Ведите, капитан". Я скомандовал "направо" и "шагом марш" и с удивлением в душе (я был в это время уже и.о. начальника штаба полка - казалось бы не для "начальника штаба" такое дело!), даже не имея с собой ни автомата, ни штатного пистолета, только маленький

подарочный "Sauer", с которым не расставался никогда и нигде, повел колонну. Из офицеров со мной были инженер полка и два ротных.

Первая ночь прошла спокойно. Немцы то ли нас не обнаружили в роще, то ли решили пока не пугать "до выяснения", чем мы там занимаемся. Роща была на высоте, земля более или менее сухая и окопы получались нормальные.

А на вторую ночь случилась беда. Грешен. Не могу себе простить. Доверился благополучно прошедшей операции накануне и не проявил бдительности. В одном из окопов, которые мы сами вырыли, немцы устроили засаду. Предварительно разбил отряд наш на группы и указал каждой направление, где рыть. Сам пошел с одной из групп. Минут через двадцать нашел меня солдат и доложил, что один из вырытых вчера окопов занят немцами. Я взял с собой пять человек и пошел проверить. Впереди шел старшина - командир саперного взвода. Я за ним чуть сбоку. Остальные шагах в четырех сзади. Как только мы приблизились к окопу (он был у самой опушки), оттуда полоснули из автоматов. Падая на землю, я успел бросить в окоп гранату, из-за моей спины солдаты бросили еще две, все разорвались в окопе. Старшина был убит наповал - очередь буквально распорола ему живот. Двое других были легко задеты пулями.

Под утро долго несли его с нейтральной полосы за свой передний край. Несли и других убитых в эту ночь. Но запомнил его, сапера, - худощавого, милого парня из рабочих, послушного и улыбчивого.

Много-много лет спустя видел я фильм "Бумбараш". И поразился сходству этого своего старшины с актером, который играет в нем цыгана. Часто он "посещает" меня. Я виноват в его смерти. Демонстрировал перед подчиненными бесстрашие и не остерег, приближаясь к окопу.

В эту ночь работы шли под почти постоянным пулеметным огнем немцев.

В третий раз мы были предельно осторожны. И войдя в рощу редкой цепью, добирались до мест, где надо было завершить работы, пригнувшись, а то и ползком. Я заподозрил, что немцы заминируют рощу. И не ошибся. Не густо были поставлены мины, но все же несколько человек подорвалось. И сам чуть не "попался". С инженером и еще с кем-то прислушиваясь и останавливаясь, вышли к противоположной опушке. Предстояло пройти по

всей линии вырытых окопов - проверить "качество и количество" сделанного. Вдруг солдат, шедший шагах в трех от меня громким шепотом: "Капитан! Проволока!" Мы с инженером присели и стали ощупывать перед собой землю, переступая гусиным шагом. Что-то меня внезапно насторожило, я стал медленно поднимать руку и на уровне лица вдруг дотронулся до тонкой проволочки, протянутой между деревьев. Инженер пододвинулся ко мне. Мы поняли, что это такое: "лягушка", прыгающая мина. Наткнувшись на проволоку, ты дергаешь спуск бойка в патроне, который укреплен в земле и на который насажен цилиндр размером примерно 10*20 см. Заряд в патроне выстрелом выбрасывает этот цилиндр на высоту около метра и тот взрывается, разбрасывая в радиусе 10-15 метров осколки и стальные шарики.

Не обнаружь солдат проволоку, не осени меня в счастливое мгновение предчувствие, всех троих нас изрешетило бы.

Во всей этой операции по подготовке рубежа атаки мы потеряли пятнадцать человек ранеными и трех убитыми. Бессмысленно, нелепо - меньше, чем за неделю до конца войны!

Но это уже на совести высшего командования... После этих ночей инженер полка, с которым мы были там

почти все время рядом, стал расхваливать меня Бамбалю. Комполка потом сказал своим денщикам: "Интеллигент... Характер показывает... как офицер из бывших".

В ночь на 6 мая полк сдал свой боевой участок, сразу же снялся и к утру уже был километрах в десяти от передовой. Мы двигались в сторону Митавы, к железнодорожной станции Ливберзе. И тут нас на ночевке в лесу застало известие о конце войны. Вот как я описал это в своем дневнике 19 мая, оказавшись уже под Таллином: "3 часа утра 9.5.45. Я рядом со своими тремя коллегами из штаба спал под деревом, укрывшись плащ-палаткой. Разбудил зычный оклик Бамбаля: "Черняев, вставай - война кончилась!" К дереву возле палатки Бамбаля был уже прилажен громкоговоритель и мы слышали голос диктора, зачитывавшего акт о капитуляции Германии и Указ Президиума Верховного Совета СССР.

Помню, мне страшно не хотелось до конца пробуждаться, собирать и строить полк "на митинг", чтоб кричать "ура" и проч. Известие произвело на меня слабое впечатление. Видно, сознание было уже подготовлено.

Возможно также - война настолько опустошила ощущение жизни, что нехватало уже сил для настоящей радости.

По окончании официальной части - приветствий и поздравлений, по формализму, казенности слов и фраз так не отвечавших значимости происшедшего, началось подлинное. Разбежавшись из строя, солдаты начали стрельбу в воздух. Стреляли все из всего, что было у каждого - автоматов, карабинов, винтовок, пистолетов. Взвились трофейные немецкие ракеты. Пулеметная рота подняла свои пулеметы и открыла бешеную стрекотню, пока ленты и диски не иссякли. Вскоре открыл огонь артполк, следовавший на марше за нашим, потом зенитки.

В этот же день погрузились в эшелон. Митава-Рига-Валга-Тарту-Таллин. Думали, выгрузимся в городе. Не тут-то было. Отъехали еще километров 40 на запад, в сторону Паладиски и там осели в бывшем военном городке у поселка Клога. В середине лета - переместились в палатки и дома неподалеку, в дачный поселок Кейла.

Тут-то, среди болот и грязи, и возобновилась жизнь, о которой я столько передумал за 4 года войны!"

Итак, я уцелел. Мне, конечно, повезло. Может быть, потому, что оказался не на самых главных фронтах, где происходили "решающие сражения". Может, потому, что "моя война" проходила главным образом в лесах и болотах, где нельзя было массированно применять танки и где легче было укрыться от бомб и мин. Может, оказался в таких частях, которых не часто бросали в мясорубку.

Но ведь для того, чтобы убить одного человека, не много надо: не требуются армады танков или артиллерийской дивизии. Достаточно одной пули или осколка. Смертельные меня миновали, хотя, как видно из фактов "моей войны", которые я постарался изложить более или менее правдиво, - могли бы и не промахнуться.

Совість моя чиста... Но, конечно, не перед теми, кто погиб рядом, и не перед теми, кто вместе со мной честно отвоевал, а фамилий их я не запомнил и в эту книгу, увы, занести не смог.

Как бы там ни было... Пусть мне очень повезло. Но не верьте, когда вам рассказывают об участии в двух-трех-пяти атаках и рукопашных схватках, о

стремительных бросках на врага с криками "Ура!" и "За Родину" (тем более "за Сталина") из перекошенных от священной ярости ртов.

Может, такое и случалось. Но если и бывало, то очень редко. И не эти "случаи" решали судьбу войны. Ее "делали" миллионы совсем не героических солдат и командиров, для которых война - согласен с Виктором Астафьевым - это каждодневная, а то и еженощная работа, противоестественная и порой непосильная.

На этом можно было бы и закончить про "мою войну". Но в армии я оставался еще почти целый год. И поэтому не могу обойтись без "эпилога", кое в чем заслуживающего внимания не только историков.

Год в армии после войны

Итак, в середине мая полк разместился в Клоге, неподалеку от Таллина. В полку осталось 160 человек, включая всех тыловиков, техников, оружейников, обслугу и т. д. 30% - офицеры. Некому чистить лошадей - их 88. Некого ставить охранять полковое знамя: все на мелких работах по устройству жилья в полуразрушенном бывшем немецком военном городке.

Дела у меня, начальника штаба, почти никакого. Скука смертная. Читать нечего, кроме Пушкина и Маяковского. Зато открыл у того и другого нечто для себя новое.

Исчезновение каждодневной смертельной опасности как бы высвободило человеческую сторону отношений между теми в полку, кто тяготел друг к другу и раньше, в боевой обстановке, но сковывали и субординация и окопное нервное напряжение. Разумеется, отношения складывались по-разному с разными людьми - в зависимости от уровня культуры, профессии, среды в мирное время, от особенностей характера, склонностей, манеры держать себя с другими. С немногими, правда, но возникло взаимное чувство товарищества, симпатии, доверия. Но особенно остался в памяти Андрей Владимирович Помернацкий - штабной писарь, ленинградец, доктор искусствоведения. Старше меня лет на пятнадцать, может, и на все двадцать. Рафинированно интеллигентный, необычайной образованности. С самого моего появления в штабе полка я заметил какое-то особое внимание с его стороны, тревожное и несколько даже умильное - будто отцовское или старшего брата к младшему. Хотя внешне он старался этого не показывать, сохраняя дистанцию подчиненного к начальнику. А

теперь он мне признался, что страшно переживал, когда я уходил из штаба в окопы или на задание. Ему всегда хотелось остановить меня, придумать какое-то дело, чтобы удержать в штабе, все время порывался сказать: "Толя, берегите себя, вы такой неосторожный". Теперь, когда мы оставались вдвоем, он уже иначе меня и не называл - Толя. От него я узнал очень много из жизни ленинградской интеллигенции в 20-30-е годы, впервые понял, какая это была перманентная духовная (и часто физическая) драма, как много исчезло, погибло выдающихся умов и талантов.

Интеллигент "по определению", он не шиковал своими знаниями. Но общаясь с ним долгими часами, я понял, насколько сам еще зелен и поверхностен, нахвтан и в философии, и в литературе, и особенно - искусстве. Он не только читал мне стихи, но записывал их мне на память своим своеобразным почерком. Эти листочки сохранились. От него я впервые узнал, например, о судьбе Осипа Мандельштама, впервые заучил его стихи, был заинтригован и очарован скрытой в них поэтической тайной, постигая красоту неожиданных сочетаний слов и пауз, бесконечное разнообразие оттенков чувств и настроений.

Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы. Медуницы и осы тяжелую розу сосут. Человек умирает. Песок остывает согретый, И вчерашнее солнце на черных носилках несут.

Ах, тяжелые соты и нежные сети Легче камень поднять, чем имя твое повторить! У меня остается одна забота на свете: Золотая забота, как времени бремя забыть.

Или: Но жертвы не хотят немые небеса, Вернее труд и постоянство.

В начале июня 1945 года сержанту Помернацкому надели погоны подполковника и отправили в Германию на поиски украденных немцами произведений искусства.

...Повадился ездить верхом по побережью. Места прекрасные. Но население - то ли перепугано, то ли попросту враждебно. Дважды, проезжая через поселки, попытался (ради эксперимента) зайти в дом. Не пустили. Приближаешься к хутору - хозяева прячутся и загоняют домой ребятишек.

Среди населения распространялись слухи, отражающие сокровенные чаяния. Одна эстонка сказала мне: "Вы с американцами уже воюете. Когда

же с Англией начнете воевать?" (Имела в виду инцидент между Тито и английским генералом Александером). Еще ходила легенда о появлении вскоре у берегов Эстонии корабля под белыми парусами - английского или шведского, - провозвестника освобождения от большевиков.

Побывал в Таллине. Ничего особенного, кроме осколков готики и нескольких красивых женщин. И как везде - крайняя отчужденность, демонстративно презрительное отношение к нам, военным.

24 мая сообщение о тосте Сталина на приеме в честь командующих фронтами, благодарность русскому народу. Запись в дневнике: "Сильно, производит впечатление, хитро, так говорить может только он. Но стратегический прицел - сомнительный".

Еще до этого пришел приказ - направить из состава полка "карательный отряд" под Тарту для борьбы с "лесными братьями". (Когда Красная Армия вступила в Эстонию, естественно, была объявлена мобилизация мужчин. На призывные пункты явилось 8%, остальные ушли в леса. И развернулась настоящая партизанская война.) Удалось наскрести в этот отряд около ста человек. Через несколько дней пришло из отряда донесение: втянулись в войну с эстонцами. Машина с нашими солдатами свалилась в реку: шофер не заметил, что мост был подорван (его хитро замаскировали). В результате 16 раненых и двое погибших.

15 июля, вернувшись в полк из двухнедельного отпуска в Москву, я узнал некоторые подробности действий нашего "карательного" отряда в районе Тарту-Пайду, Тюри, Виланда. И записал свои размышления.

"Много вопросов возникает...

1. О пребывании наших войск в Эстонии (сама формулировка вроде странная).

2. Об интендантах и других.

3. О нравственности русского народа и русского человека - как обобщенный вывод из первых двух вопросов.

4. О том, почему мы победили... Увы, этот вопрос могу только поставить. Ответа у меня нет, кроме иррациональных плоских соображений.

О том, что делал наш отряд под Тарту, о его "борьбе с бандами", знаю со слов очевидцев из полка (сам там не был), а также из донесений в штаб о "чрезвычайных происшествиях" там".

В тех местах, куда был направлен отряд, заранее прошел слух, что к ним скоро придут какие-то войска. Считали, что английские.

Но когда выяснилось, что - русские, многие похватили кто что успел из своих пожитков и бросились в леса, на мелкие разбросанные по округе хутора. Когда узнали, что не убивают и не громят всех подряд, а арестовывают выборочно, стали возвращаться. Однако уже из этого следовало, что население относится к Красной Армии как к оккупационной.

Офицеры поселились в лучших домах, в самых комфортабельных квартирах, солдат разместили в школах. Вскоре стали приходить сведения о пьянках, дебошах, драках. О "деле" донесения шли маловразумительные: кого-то ходили ловить, кого-то обыскивали, что-то охраняли, куда-то высылали облавы. Население терроризировано. Не мудрено: хозяевами положения были представители НКГБ¹⁷. Один наш комроты, посланный туда, рассказывал: вызывает один такой чин из НКГБ, приказывает выделить солдат на задание - какое и куда и не думай спрашивать. Говорю: мол, мне надо знать хотя бы на сколько дней, чтобы определить довольствие. Отвечает: "Не надо, сам накормлю!"

Потом удивляться перестали, освоились. И уже никто отрядной кухней не интересовался. Делалось так: входит солдат в дом, стукнет автоматом об стол и немедленно получает что душе угодно - яйца, масло, молоко, окорок, заодно - и самогон.

И когда через день-другой приходит солдат или офицер вежливый и просит (!) продать что-то из еды, в этом видят какой-то подвох и дают все задаром. И солдаты, посланные своим командиром записаться провиантом и предлагающие за это деньги, приносят не десяток, скажем, яиц или не два-три килограмма мяса, а в несколько раз больше, и заодно возвращают командиру полностью полученную от него сумму (как Мустафа в "Путевке в жизнь").

Два солдата из отряда вломились в переполненный клуб, шло кино. Подняли матерный крик, будто они за кем-то гонятся, а преследуемый затерялся в темноте кинозала. Зажегся свет. Солдат, выдернув из гранаты

¹⁷ Тогда уже было не НКВД, а НКГБ, то есть Народный Комиссариат государственной безопасности.

чеку и подняв ее над головой, завопил: "Где он, туды его мать!" Что было с публикой - легко представить. Шутки в духе Махно.

Когда об этом эпизоде рассказывали, все хохочут. Между прочим, солдаты эти не были наказаны непосредственным командиром, а "высшее начальство", узнав, тоже посмеялось.

Командир посланного отряда, почувствовал неладное и решил "пресечь в корне". Поднял личный состав по тревоге (это означало, что все должны явиться с полной выкладкой, со всем своим имуществом). И устроил "шмон". Из вещмешков на землю посыпалось огромное количество самых разных продуктов, а также и "ширпотреба". Командир все это велел отобрать, произнес грозную речь. Тем и кончилось.

Редкий из солдат, вернувшихся из этого отряда в полк (об офицерах уж и говорить нечего), не имел наручных и карманных часов, а то и не по одной штуке. На какие такие средства они могли их купить! Да и не скрывали, как ими разжились.

Любопытно отношение к этому всему военного начальства. Из дневника:

"Мой товарищ из штаба полка старший лейтенант Петров был послан в отряд, чтобы расследовать дело проворовавшегося там интенданта.

Возвращался он обратно в Кейла вместе со всем отрядом, который закончил под Тарту свою благотворную деятельность на пользу Отечеству.

В вагоне оказались рядом - он, дивизионный прокурор, председатель военного трибунала и следователь. В этом же вагоне ехало несколько десятков солдат.

Петров говорит: "Знаете, тов. майор (прокурор), что у каждого солдата есть часы?"

- Ну, брось ты! - возразил тот.

- Не верите? Хотите докажу?

- Ну?

- Товарищ майор, - уже громко на весь вагон произнес Петров, - скажите, пожалуйста, сколько сейчас времени?

Майор достает часы:

- Без четверти 7.

- А у тебя сколько? - обернулся Петров к близсидевшему солдату. Тот явно довольный, что у него спросили время, достал часы:

- Без 13 семь, товарищ старший лейтенант.

- А у тебя? - спросил Петров у другого солдата. Этот засучил рукав, а Петров, обращаясь уже ко всем: - А ну, солдаты, проверим часы, а то у майора без четверти, у этого - без тринадцати... Все полезли за часами и наперебой сообщали, сколько у кого. Один даже сверил свои карманные с наручными и, обнаружив несовпадение, выругался.

- Ну что? - торжествующе произнес Петров, обращаясь к коллегам. В ответ был дружный смех".

Этот эпизод современному читателю может показаться пустяковым, наивным. Однако я хотел бы напомнить: наручные и карманные часы до войны были большой ценностью и редкостью. В моей, более или менее материально благополучной семье, часы были у отца и то - казенные, со времен первой мировой войны.

И тут читатель ухмыльнется: подумаешь, мол, из Германии тащили целыми эшелонами, а тут - часики! Да, конечно. Но там было оправдание законным чувством мести за разорение России, за ее ограбление армией оккупантов, опять же "законностью" трофеев - испокон веков все победители так поступали. Но эстонцы-то вроде бы советские граждане, которых советские же войска освобождали от фашистских оккупантов, но с которыми немцы так не обращались. От чего же мы освобождали обыкновенного эстонского обывателя? И зачем ему такое освобождение?!

Мелочь, конечно. По сравнению с депортацией, репрессиями, коллективизацией, советизацией, массовой миграцией русских в Эстонию. Но именно тогда, в первые месяцы и годы после освобождения, был заложен прочный фундамент отношения к русским как к оккупантам и варварам, "низшей расе".

Таково было мое "общественное" недовольство последствиями войны. Но были и личные основания для недовольства - вернее, обиды. 25 мая мне исполнилось 24 года. Еще с передовой в апреле подполковник Бамбаль послал в дивизию представление о награждении меня орденом Красного Знамени "за заслуги перед полком и проявленную храбрость" (из текста представления). Комдив поддержал. А в день моего рождения мне показали

резолюцию, начертанную командиром корпуса: "Награждение гвардии капитана Черняева отклонить: награжден за это же в 1945 году".

Обоснование меня особенно возмутило. За что "за это же"? Я награжден был в январе за действия под Джукстэ в качестве начальника штаба батальона. А в апреле и в мае - в самое психологически страшное время - я возглавлял фактически штаб полка. Каждый кожей, всем нутром уже ощущал приближение последнего дня войны. Оставалось "еще чуть-чуть" и ты останешься жив! Тем не менее я не спасовал перед ужасом смерти в такой момент. И очень потом гордился, когда и комполка, и коллеги, и даже солдаты говорили об этом. Так почему же "за это" не дать лишний орден, тем более, что ни у кого, кто в отличие от комкора, меня видел в деле и знал, не было ни малейшего сомнения в правильности представления к награде?

Мне сочувствовали, костерили генерала. Бамбаль в порядке извинения "за него", а, может, и в пику начальству, поручил составить "блестящую характеристику" и направил в дивизию представление меня к званию "майор". А в начале июня отпустил в отпуск домой, в Москву.

После того, что случилось с Бамбалем и его ППЖ (о чем я написал выше), его сняли с должности. Меня вызвали в штаб дивизии и назначили главным в полку. Через несколько дней, в начале августа, пришел приказ грузиться в эшелон. Даже я, начальник штаба полка и начальник эшелона, не знал, куда нас направляют. Думали, на Дальний Восток, воевать с японцами. Но эшелон, покинув Эстонию, приветствуемый в разоренной России копошались на полях бабами, осаждаемый на остановках тучей голодных оборванных ребятишек, кричащих "Дядя, дай хлеба! Дядя, дай хлеба!", проскочил Москву (в том числе - по Окружной мимо моего родного дома в Марьиной Роще) и проследовал на юг, на Украину, в разрушенный Павлоград, где и стал гарнизоном. Я был назначен начальником гарнизона. Однако на другой день по прибытии в Павлоград произошло нечто такое, что могло кончиться для меня печально и что заслуживает упоминания не только в "личном плане".

Когда я, выгрузив полк из эшелона в Павлограде, в солнечный полдень скакал во главе группы офицеров от станции к городу, я чувствовал себя чуть

ли не наполеоновским маршалом,.. не хватало только кивера с хвостом! У въезда в город и на улицах нас приветствовало порядочное число народу.

На следующий день, к вечеру, председатель горисполкома, женщина, устроила прием в нашу честь в столовой какой-то большой фабрики. На приеме я был "в центре внимания", что особенно льстило, потому что "от граждан" присутствовали почти исключительно женщины. Было весело, натурально, радостно, женщины постарались.

Так вот: пить я еще как следует не умел, да и харчишки от урезанного при переходе на "мирный режим" пайка были не такие, чтоб чувствовать себя достаточно физически крепким. Словом, через час-полтора я понял, что могу вот-вот свалиться под стол. Скандал! Начальник гарнизона!

Я по-тихому вышел на воздух, перешел улицу, напротив был небольшой скверик... И отключился.

Проснулся утром. Хватать за пистолет - на месте. Я лежал за низкой кирпичной оградой на правом боку. И, видно, не решились меня обезоружить. Но в карманах гимнастерки - пусто. Удостоверение, партбилет - все исчезло. Потом говорили товарищи, что меня бросились искать. Но нашел меня оперуполномоченный "СМЕРШ", о чем я узнал через несколько часов.

Я побрел "домой" - на квартиру, где накануне встал на постой. Состояние мое лучше не описывать: нет таких слов. Положение действительно "хуже губернаторского", а я ведь "губернатором" по-существу и был сюда направлен.

Дело шло к полудню. В дверь постучали. Явился связной от оперуполномоченного и передал просьбу (!) прийти к нему. Я все понял. Выиграл было во мне гонор: я и по должности, и по положению, и по званию, и по всему прочему выше на несколько порядков этого кагэбэшника, можно сказать - "старший воинский начальник" в городе и окрестностях, а он позволяет себе меня вызывать! Но в моем "губернаторском" положении пришлось себя усмирить.

Пошел. Оперуполномоченный был ехидно вежлив. Объяснял мне, что это, мол, его обязанность была "изъять" документы, чтоб не попали "в чьи-нибудь" руки (почему бы просто не разбудить и не помочь добраться до дома?). Документы положил передо мной на стол. Я молчал. Он подождал,

потом стал говорить о бдительности, которая, мол, нужна не меньше и после войны. Я почувствовал в его неторопливом, нудном говорении "мораль".

- Вы мне это - в качестве выговора за поведение? - возможно деликатнее спросил я.

- Нет-нет, что вы!

- Ну тогда я пошел.

- Товарищ капитан, у меня к вам вопрос.

- ?

- Вам, в вашем новом (!) положении, было бы, наверное, полезно с нами сотрудничать.

- А разве мы не сотрудничаем? Мы же офицеры одной части, - уже явно издевательски отреагировал я. - Вот и хорошо, раз вы так считаете. Не могли бы вы подписать вот эту бумагу? - И придвинул по столу мне листок, похожий на бланк.

- Это что? Расписка в получении документов?

- Нет. Это другое. Прочтите. Я встал: "Ну раз другое... Спасибо за спасение документов". Он тоже поднялся: "Как знаете, как знаете, товарищ капитан!" - с нажимом произнес он, тускло не мигая глядя на меня.

Я надел пилотку, кинул руку к виску и вышел. Когда мне потом и много позже говорили, что, мол, если вербуют в сексоты, уклониться невозможно, я вспоминал этот случай. Тогда я действовал импульсивно, но единственно правильно для порядочного человека. И тогда же сделал для себя вывод навсегда: "их" не надо бояться и тогда никакой шантаж не сработает. И знать, что тот же "мой" опер - он же не побежит к начальству жаловаться: мол, вот, Черняев такой-сякой отказался. Ведь прежде всего его самого сочтут "несоответствующим", если он, вербовщик, не может нагонять страх и заставить "объект" согласиться...

"Карьера" моя в должности "старшего воинского начальника" длилась недолго. Начались "мирные" кадровые игры: прислали нового комполка и нового начштаба. Ни тот, ни другой на войне не были и недели, но зато - в кадрах дождались своего часа продолжать военную карьеру. А я занялся изо всех сил своим увольнением из армии. Замполит ("комиссар") дивизии

дважды уговаривал меня идти в военную академию, сулил мне "блестящее будущее". Но я наотрез отказывался.

Долго сомневался, стоит ли описывать мытарства "по уходу" из армии в конце 1945-начале 1946 года. Вроде как сугубо индивидуальная ситуация - кому интересно! Но... Эти перипетии борьбы за свободу от воинской кабалы, какой стало для меня пребывание в армии по окончании войны, подробнейшим образом описаны в дневнике. Читая эти записки сейчас, ужасаешься, до чего мы, воевавшие, оказались в ситуации унижительного пренебрежения. Однако "на всякий случай" нас продолжали удерживать в разлагавшейся, праздной, негодной для условий мирного времени армии.

Любопытным в этих записях мне показалось готовое на все стремление "персонажа", подобного мне, вернуться домой, в университет - иррациональное, лишённое практической цели, напоминающее тоскливую и страстную мечту героини чеховской пьесы: "В Москву! В Москву!"

Любопытен и тот быт, в который предстояло вернуться. Любопытен, наконец, круг интересов молодого человека, только что отвоевавшего за свою страну и совершенно, как оказалось, не интересовавшегося тем, что с ней будет теперь, выключенного из общественного контекста.

Вот кое-что "по мотивам" дневниковых записей начала 1946 года. В Павлограде я много болел. Не только астмой, которая била меня

чаще обычного и очень жестоко. Ослабленный, я впадал во что-то похожее на грипп или бронхит, температурил. Видно, это была реакция организма после перманентного нервного напряжения на фронте, где редко кто болел. А лечения, собственно, никакого. Когда наступили холода, стало совсем плохо, потому что квартирная хозяйка экономила на угле. Я поменял три квартиры - но везде то же самое. Всем отпускали по два-три килограмма угля на день - этого едва хватало чай вскипятить, не то чтобы квартиру согреть. Температура в доме падала иногда до минус двух-пяти градусов. Ни читать, ни писать (без перчаток) хотя бы в течение часа было невозможно. Физические страдания, особенно при астматических ночных приступах, доводили до мыслей о самоубийстве.

Вот одни из воплей в дневнике: "Я никогда не чувствовал себя так скверно, не только телесно, но и душевно. Даже - на фронте, когда по неделям с отмороженными конечностями, без горячей пищи, под обстрелом,

корчась спал на снегу. Я был бодрее, потому что страдание там шло от посторонней, внешней, необходимой силы. А сознание его неизбежности глушило его остроту. А здесь оно происходит от ничтожества, от людей, от пошлой их мелочности и от "воспитанности" и гордости, которые мешают качать права"...

С 29 декабря по 5 февраля я был в отпуске в Москве. Он не превзошел ожиданий, но утвердил меня в сознании, что вне Москвы для меня нет жизни и что остаться в армии для меня - духовная и нравственная смерть. И это несмотря на тяжелые условия, в которых находилась семья. Брат, который еще в 1942 году был тяжело ранен и на фронт не вернулся, жил с молодой женой Ирой вместе с родителями. Лева получал 600 рублей. Ира училась, домашние заботы презирала. Но привыкла к обеспеченной жизни. Если, например, на столе 3-4 дня не появлялся сахар и утренний завтрак состоял из чая с хлебом, - для сестры Нины, для меня, для отца с матерью не было "трагедией", к этому привыкли. Так бывало и до войны. Ира тоже молча проглатывала "скромный" завтрак, вечером ела со всеми пустой суп, но спокойно этого переносить не могла.

Брат склонен был обвинять мать в невнимательности к его жене, в нежелании вовремя и должным образом готовить, в мелочности, которая подчас действительно была смешна или неприятна. Вполне объяснимая, она унижала его в глазах жены (например, когда конфетка, сама по себе маленькая, делилась на несколько равных частей).

Положение осложнялось присутствием Нины. Она тоже, как и Ира, училась в институте. Но заботами по хозяйству не пренебрегала. И ее раздражало барское отношение Ирки к домашним обязанностям, конечно, грязным, нудным... Она не склонна была переносить выпады брата против матери. Если мама отмалчивалась, боясь открытого скандала, то Нинка рубила с плеча и подчас хватала через край. Несдержанная и прямая, за что могла бы показаться просто невоспитанной и легкомысленной (особенно неприятны были ее грубость и нетерпимость к отцу), она поразила меня знанием людей и жизни, умением увидеть причину поступка и поведения, и "красноречиво" осудить то, что того действительно заслуживало. Так рождались открытые скандалы, наносившие все новые удары нашей бедной матери.

Я был всему этому невольным свидетелем и "сторонним" наблюдателем. А отец перед моим отъездом подсказал выход: "Оставайся в армии!"

Половину отпуска я проболел: сделал операцию у частного в носу и получил страшную ангину с дикими небывалыми болями в спине. Дважды били меня приступы астмы. Тем не менее за месяц я девять раз побывал в Консерватории (в том числе прослушал "Реквием" Моцарта, 9-ю симфонию Бетховена, несколько фортепьянных концертов), дважды - в театре и раз - в Третьяковке.

...Вернувшись в Павлоград, я узнал, что дивизия и полк расформированы, а меня ждет предписание на штабные курсы по подготовке в военную академию. И моя кандидатура утверждена Военным округом.

Что делать? Бросился к полковому врачу. Он по блату дал направление на гарнизонную комиссию. Та направила меня на стационарное обследование в госпиталь в Днепропетровске. 20 февраля я туда явился и первое, что меня ошеломило, что из "приемного покоя" легочников - а я предназначался именно в это отделение - после обмывания в ванне отправили в соответствующий корпус в одном белье через снежный двор. В эту же ночь меня схватил сильный приступ астмы, продолжавшийся 4 дня и 3 ночи - чего удачнее: товар, что называется, был показан лицом. И на первом же заседании комиссии меня "комиссовали" как "негодного к военной службе со снятием с учета". Когда воевал - был годен. Теперь получил то, что мне и надо было (однако, с учета меня сняли лишь в 60 лет!).

Потом была волокита с пересылкой документов по инстанциям и мое "комиссование" чуть было не зависло. Между тем я пребывал в палате в ужасающих условиях: десятка два харкающих и стонущих, оправляются прямо в палате. Поднимают скандал, если хоть на сантиметр кто-нибудь приоткроет форточку или оставит открытой дверь - сквозняк! Были и такие, которые каждый день обнаруживали у себя какую-нибудь новую болезнь. Выходить на улицу - не разрешено!

Спасение было в чтении. Но взятые из Москвы книги я оставил в Павлограде. Счастье, что милая библиотечка допустила меня в свои владения. И за 18 дней я прочел "Философию искусства" Иполлита Тэна, всю прозу Лермонтова, "Сад Эпикура" Анатоля Франса, "Накануне Крымской

войны" Тарле, несколько журнальных статей (в том числе "Щедрин и могучая кучка"), "Фридрих Гамбургский" Клейста, стихи французов и англичан в переводе Брюсова и Пастернака, ежедневно читал Маяковского, прочел "Генриха IV" Шекспира, несколько глав из "Поэзии и прозы" Гете, "Фауст, Дон-Кихот и Гамлет" Тургенева, два блестящих рассказа Флобера "Легенда о св. Юлиане Милостивом" и "Иродиада", "Монну Ванну", "Сокровище смиренных" и "Избиение младенцев" Метерлинка.

Об "Избиении" написал даже целую страницу восторгов в дневнике: "Поразила объективность, бесстрастность изображения, от чего сами события потрясают. Гениальная простота, ясность, краткость. Манера, стиль таковы, что невозможно потребовать ответа: "почему и зачем?", разве только "где? и когда?" Полное перемещение в эпоху! События будто переданы на экран, и происшедшее имеет значение только само по себе вне всякой связи с художественными средствами. Совершенство средств изображения таково, что автор исчезает. Он оставляет нам мастерски сделанную маску с мертвого лица, передающую остановившуюся жизнь во всех ее нюансах. Они остаются в памяти - как с византийской фрески. Я многословен и невнятен потому, что не уяснил себе достаточно цену рассказа. Он требует много мысли и времени. Вот бы так уметь писать!"

А если к этому добавить прочитанное осенью в Павлограде во время почти абсолютного служебного безделья, то список удвоится: стихи Фета, "История молодой России" Гершензона, "Упадок лжи" Оскара Уайльда, "Нравственность без обязательства и без санкции" Жана-Мари Гюйо, стихи К.Симонова, "Дон-Жуан" Байрона и о нем, "Признаки времени" Салтыкова-Щедрина. А еще Спенсер и Паскаль, Г.Брандес, Стиндберг "Исповедь безумца", Анатоль Франс, Блок, Брюсов, Луначарский "Фауст и город", "Освобожденный Дон-Кихот", Теодор Драйзер... И выписки, выписки, выписки из всего этого¹⁸.

В Павлограде же я начал перечитывать Ленина, даже тщательно конспектировать - подряд. И вот какую запись обнаружил в дневнике - за 29 октября 1945 года: "Сегодня я прожил на свете 8923 дня... Нам давно пора отнести к Ленину так, как Лютер к Евангелию". Чтение Ленина и

¹⁸ Кстати, именно в госпитале я услышал о Фултоновской речи Черчилля. По радио - комментарий и отзыв Сталина. Сосед по койке (в палате лежало человек двадцать), пожилой капитан, произнес сумрачно: "Ну вот, бате еще теперь с союзниками не терпится повоевать!"

прочитанная работа Плеханова "Пессимизм как отражение экономической действительности" навеяли, между прочим, и такое размышление (запись 22 декабря): "Я, наверно, слишком единичен для нашей страны, где один человек мало значит. "Призвание личности у нас, - как опасно выразился однажды Леонид Леонов, дав блестящее оформление мысли, которую он хотел вроде бы опровергнуть, - умножение нулей в бесконечном ряде чисел". Деятельность отдельных, обычных людей у нас, если и совпадает с "общим делом", настолько ничтожна, что никак не может рассматриваться как деятельность на общее благо.

Всякий, кто вышел из состояния стадности, которое при нашем уровне материальной культуры и вообще жизненном уровне, необходимо является государственной добродетелью, неизбежно должен чувствовать себя отверженным и лишним. Так как выход из этого состояния совершается через усвоение допролетарской, несоциалистической культуры, ибо эта последняя настолько еще не развита, настолько еще не отшлифовала свои ценности, что ни в какой мере не может выдержать сравнения с ценностями старой культуры, одним из основных элементов которой был индивидуализм, достоинство, "самоценность личности".

14 марта еще раз вызвали на комиссию. Дали 2-ю степень годности (или негодности?). Для оформления демобилизации пришлось ехать в Харьков (в Военный округ). В госпитале отказались выплатить жалование¹⁹. И поехал я без копейки в кармане. Два дня буквально голодал, пока не вернулся в Павлоград - забрать вещички.

Квартира, которую я снимал, была занята двумя артиллеристами. И хозяйка, боясь вызвать их недовольство, не только не разрешила переночевать, но даже присесть не предложила. Куда деваться - да еще без денег? Вспомнил об одном сослуживце, который к счастью задержался в городе. Его хозяева, старик со старухой, приняли радушно. Накормили. Хозяйка посодействовала в продаже летнего обмундирования. Таким

¹⁹ Однажды, будучи еще в Павлограде, я подсчитал в дневнике свой бюджет: "на фронте, пока был в гвардейском корпусе, получал 1660 руб. в месяц. После перехода в обычную, армейскую дивизию - 1100 руб. Пришлось сократить аттестат матери с отцом с 800 в месяц до 600 рублей. Кончилась война - отменили "полевые", и теперь (октябрь 45 г.) вместе с выслугой лет получаю 900 рублей. Из них 140 - на заем, 50 с лишним - налог за бездетность, 90 - партвзносы. И 20 руб. на руки. Это когда арбуз, например, стоит 15 руб. Разумеется, кормлюсь я один раз в день на службе, в казарме... А вечером и утром?..."

образом я обзавелся некоей суммой. И на другой день уехал в Днепропетровск.

Чтобы заплатить за квартиру и "пансион" у хозяйки, я взял у начфина "под отчет" до зарплаты 150 руб. Чтобы сходить в баню, занял у коллеги по штабу 10 руб. Теперь у меня нет ни копейки. А когда придет зарплата за октябрь, у меня после всех выплат и долгов снова ничего не останется".

Тут можно было бы переночевать у знакомой девушки, павлоградки, учившейся в мединституте и снимавшей угол. Но я с ней "попрощался" еще при выходе из госпиталя и не хотел портить воспоминаний о той ночи. Пошел на вокзал. Удалось занять стул, а то пришлось бы спать на полу.

В вагон прорваться смог, лишь открыв дверь дулом пистолета. Вагон оказался купейным, но набит так, что по коридору не протиснуться. Тем не менее сделал последнюю запись в начатом еще на фронте блокноте: "31 марта. В поезде. Любопытная странность есть в моем характере - я не дорожу ничем в себе, что незаметно для других, особенно тех, кто интересуется мной. Своеобразная наглость - принимать все на себя и не придавать себе никакого значения".

Так, никому не нужный, один на всем белом свете, бывший гвардии капитан, всего полгода назад въехавший "на белом коне" в город в качестве начальника гарнизона, со 150 рублями в планшетке и с головой, набитой высокими и красивыми чужими мыслями ехал в забитом солдатами вагоне, где ему не предложили даже, подвинувшись, притулиться на скамье, - возвращался в свою юность. Взрослым война его не сделала.

Итак, из своего послевоенного "эпилога" я сделал выводы:

- государство наше допускает историческую ошибку, поскольку явно не собирается благородно, после такой победы, вернуться в границы 1939 года;

- родина не очень-то ласково встречает - позволю себе плакатный оборот речи - возвращающихся сыновей (а я ведь успел дважды побывать дома, в Москве, в университете). Кстати, за ордена и медали, которые очень скоро стало "не принято" носить²⁰, начали было платить по 15 и 5 рублей за

²⁰ Чуть позже Борис Слуцкий очень точно это запечатлел:
Ордена теперь никто не носит,
Планки носят только дураки...

штуку в месяц, но через год - отменили, как и льготный проезд в дальних поездах;

- и, наконец, тем, кто "там" побывал, не надо ничего бояться.

Судьбы не миновать и только унизишь себя боязнью. И не надо ни за что бороться - ни в общественной жизни, ни в личной. Пусть будет так, как будет.

С этим в апреле 1945 года я и вернулся в университет, на четвертый курс.